

ВАЛЕРИЙ МИШИН

ГЕРМАН-ПЕЧАТНИК



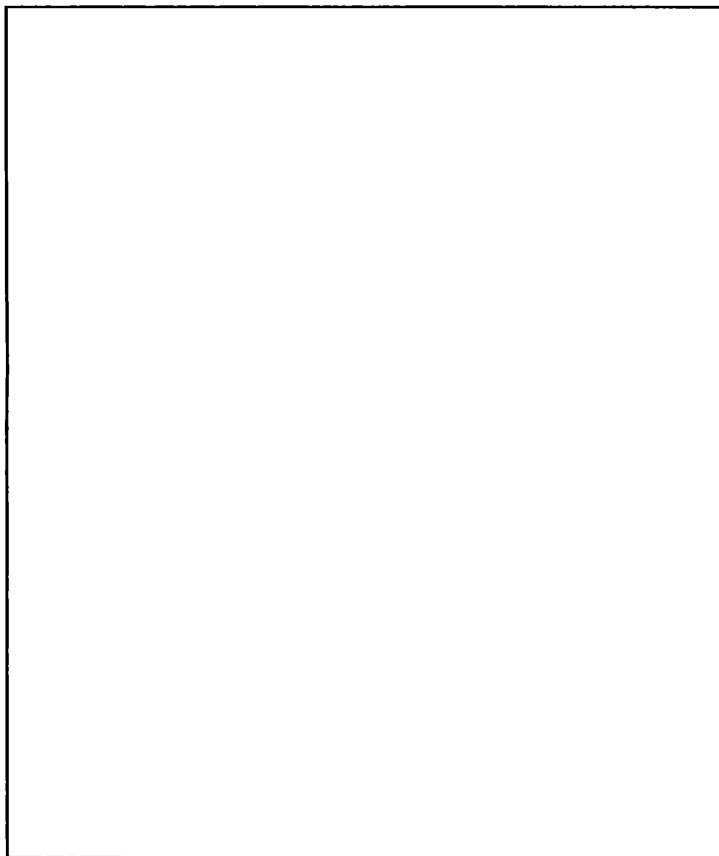
ВАЛЕРИЙ МИШИН

ГЕРМАН-ПЕЧАТНИК

ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ

(1965–1969)



“Формика”
Санкт-Петербург
2001

ISBN 5-7754-0025-9

© В. Мишин, текст, предисловие, оформление, 2001

ГЕРМАН-ПЕЧАТНИК

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В арифметике человеческих жизней приходится закрыть еще одну фигурную скобку, поставить еще одну дату с крестиком. † 1993. Герман Петрович Пахаревский. Герман Петрович, Герман или просто Геруля. Печатник-литограф и офортист. Величайший художник жизни.

Если вспомнить рассуждение Зоценко о том, кто важнее – актер, монтер или театральные плотники – и перенести его на отношения художника и печатника, следует признать, что печатнику отводится отнюдь не второстепенная роль.

Герман-печатник начинал в печатных мастерских на Песочной набережной, потом он перешел в училище им. Мухомовой (б. Штиглица), затем – Академия художеств, архитектурный факультет строительного института и, наконец, он оставил официальные учреждения и открыл свою собственную мастерскую на Лиговском проспекте. С ним работали или просто соприкасались десятки, сотни художников... Ермолаев, Каплан, Чмутин, Люкшин, Колокольцев, Забирухин, Сажин... Привожу имена наугад. Да и как можно кого-либо выделить? Помню, Геруля как-то сказал: «Вы, художники фиговые, великих из себя строите, а никто ваших шедевров не видел. Вот Вовка – самый знаменитый художник, его «коленвал» с восторгом смотрят каждый день миллионы советских граждан». «Коленвалом» называли водку за этикетку с прыгающими буквами.

Он выбирал молодых, едва научившихся держать в руках карандаш, и терпеливо с ними работал. С виду как бы играючи, как бы шутя. Освоить сумму профессиональных навыков – это еще полдела. Этим собственно и занимается специальная школа, подобно тому, как инструктор по плаванию обрабатывает отдельные движения на суше. Но пока тебя, как котенка, не пихнут в воду, ты не научишься плавать. У Герули школяры превращались в художников. К нему приезжали на стажировку и подолгу работали художники из Финляндии, Германии, Америки. Другие сами разъехались по свету: Островский в Израиле, Макаренко во Франции, Кокояннин в Штатах.

Плохих людей в обществе Герули не было, он с ними не контактировал, хотя от избытка темперамента его иногда подначивало схлестнуться в троллейбусе с каким-нибудь ханыгой или устроить скандал в гастрономе с мясником, который его обсчитал, причем такой скандал, целый театр одного актера, без антракта, после чего мяснику ничего не оставалось, как завернуть Геруле бесплатно телячью ногу и проводить с извинениями.

Думается, такие истории он наполовину сочинял, чтобы потешить друзей за «портвейновой».

У него не было плохих друзей, но был один весьма коварный – Бахус. А в России, как известно, напитки не лучшего качества. Однажды мы случайно уронили недопитую бутылку «Солнцедара» на пол, на полу тотчас же зашипела краска и образовалась дырка.

Два года я носил с собой блокнот с карандашом и записывал Герулины хохмы. Вероятно, сейчас я написал бы иначе, во всяком случае смог избежать некоторых «литературных приколов». Но горечь в том, что сейчас я вообще бы ничего не написал. Это был восторг перед человеком, такого у меня больше никогда не было, и вряд ли будет, с молодостью уходит все.

Геруля был способен самого нерасторопного охلامона заставить почувствовать вкус жизни, ее пульсацию. Казалось – жизнь реальна, на твоих глазах рушатся философские постулаты о том, что существует только прошлое и будущее и нет настоящего. Вот оно – искрится, играет, пенится. Лови его – и ты счастлив.

Геруля не любил сквернословить, он вел беседу на грани фола, в его лексиконе было достаточно крепких выражений, чтобы обойтись без четвертого издания словаря Даля, который любили полистать друзья-художники в библиотеке училища Штиглица.

Его трудно было смутить, он всегда находил выход из положения. Только однажды, помню, мы печатали, и в мастерскую к приятелю зашли двое с разговором о замене поломанного автомобильного мотора. «Мужики, – решил подкузьмить их Геруля, – а у вас мотор от самолета есть?» «Есть два, тебе какой?» Оказывается, мужики приспособивали эти моторы в забегаловках-автоматах для розлива портвейна. Герман опешил и молча опрокинул стакан.

(Кстати, нужно пояснить, теперь, возможно, уже непонятную многим игру слов: Разлив – Розлив. Ленинские места и винная разлилочная).

Я оставил записки такими, как я написал их более четверти века назад. Даже не буду вносить изменений в написание фамилии (Прохоровский вместо Пахаревский). Эта цензура была сделана с ведома Герули, чтобы подчеркнуть, что речь идет не совсем о нем, а как бы о ком-то весьма похожем. Пусть так и останется. набросок с натуры – только набросок. Второго Германа Петровича Пахаревского нет. Пока, Геруля.

1. Герман в больнице

Все началось с того, что Макару приснился наш покойный дедушка Бучкин. Встречает он его у ларька «Пиво-воды» и говорит: «Ну что, Макарушка, дадим по пивку? А как там, кстати, Геруля поживает. Передай ему привет». Макар передал Геруле привет, и с этого все началось. В субботу мы собирались на междусобойчик по случаю Дня учителя и Геруля собирался быть с нами, но его заманила другая компания на именины в Мартышкино. А у Герули, знаете, почки, да именины – не День учителя. На другой день Геруля загнул и попал в больницу Мечникова. «Не меньше чем на полтора месяца», – говорил Макар, но Герулю выписали через неделю.

Я встретил его исхудалого и бледного, о Мартышкине, конечно, ни слова; – ну, расскажи, Геруля, как там в Мечникова. И Геруля начинает с самого главного.

– Вставили мне катетор*. Как ни просил: делайте, что хотите, только не катетор. Обманули. Завели в комнату – и ноги на самолет. Врач и две молоденькие ассистентки. Я и не заметил, как он вставил и ну толкать до самых почек. А лампочка в ихнем аппарате перегорела, пришлось по-новой. Потом в вену ввели синьку и, пока она дошла до низу, я всё – ноги на самолет. Потом выдернули катетор, вставили шланг и впрыснули антибиотики. Глаза у меня уже круглые, как рубль юбилейный. Только кончили – схватил штаны под мышку и в коридор. Теперь я Зои Космодемьянской крепче в пять раз, – говорит Геруля. – А, вообще, медицина сейчас на уровне. Одному алкоголику 2/3 желудка вырезали – через четыре дня, смотришь, побежал уже на горшок. А вырезать язву – все равно, что выдернуть зуб. Режут запросто любую часть тела, умереть не дадут. Одному сделали операцию – он похудел на 20 килограммов, его откормили до 70-ти и – под нож, потом снова откормили и – на выход. А клизму, знаешь, как ставят. Сестра молоденькая, не говорит: пойдём – поставлю тебе клизму, – а говорит: пойдём – я уже соединила. Я в титку дую, молчу. Тогда она дергает за рукав: скорей – Москва на проводе! Ну, прости, я побежал за зарплатой, нужно успеть до четырех. Звони, – говорит на прощание Геруля, – телефон помнишь? Б1-49-50.

Возможно, что макаров сон – не больше чем совпадение, но ведь дедушка Бучкин умер в больнице Мечникова. Дожил дед спокойно до девятого десятка и вдруг почувствовал, что кушает без должного аппетита; обратился к врачам – остальное всем хорошо известно.

А Геруля молодец, я в прошлом году пробыл в больнице 21 день, а он оправился за семь. Друзья мы с Герулей еще те: у него – почки, у меня –

* Далее в тексте этим знаком помечены слова персонажей

печень. Б1-49-50 – нужно позвонить, сегодня зарплата, жаль, нельзя выпить – посидим за чаем. Геруля расскажет про больницу и про скобарей, у него дядька живет на Псковщине, Геруля любит, когда собираемся, рассказывать про скобарей.

2. Герман о поэтах

– Не люблю я поэтов, – говорит Геруля, – разведут по-всякому: мы воевали, трали-вали. Вот Елин-Пелин или Бабель – это по-существу. Мишку Кочутина знаешь? За моей сестрой ухлестывал. Тоже писал: мы воевали, мы воевали, – а как его поколотили пару раз на Малой Охте, сразу перестал. Сейчас там другой поэт выступает. Роберто Абригон Морадос.

– Где, на Малой Охте?

– Нет, у сестры. Чего смеешься, деревня, Роберто, знаешь, какой поэт – в сборнике поэтов Латинской Америки ему семь страниц отведено.

– А сестра у тебя красивая?

– Стерва она.

– А Роберто?

– Дурак, но стихи у него – что надо, почитай в «Иностранной литературе» за прошлый год. Знаешь, какой Абригон мужик, литр старки за раз выпивает, а говорят: за границей пить не умеют и едят будто мало. Абригон, как сядет, – ведро макарон тью-тью. А вообще, если честно говорить, единственный поэт на все времена – Франсуа Вийон. «Я Франсуа, чему и рад...» Нюхнул. Кому хочешь сам мог морду набить, разбойником был и сутенером, чего смеешься, деревня, Вийон – первый поэт города. «Я Франсуа, чему и рад, какая ждет судьба злодея...»

– А Роберто, что, хуже?

– Ну, Роберто что. Начирикает пару строчек и доволен – трешку заработал. Побежал в «Иностранную литературу».

– Его что, хорошо печатают?

– Как же. Он из Гватемалы убежал. Революцию они там делали.

– А. Роберто – революционер?

– Нет, какой он революционер, у него одних дойных коров тридцать голов. Революция у них буржуазная.

– А с сестрой как они живут?

– С Галькой-то? Морду ей надо побить. Раз – сойдутся, два – разбегутся. Сейчас Роберто в МГУ перевелся. Диплом получит – уедет в Мексику.

– Почему в Мексику?

– Чтоб алименты не платить, с Мексикой у нас дипломатических отношений нет. Я ж говорил ему: на ком ты женишься, Абригон? Она тебе еще рога понаставит.

– А что, она вправду стерва?

– Галька-то? Мужика увидит – и ноги кверху. Хочешь, познакомлю.

3. Герман об анонимках

– Нервный я стал, – возмущается Геруля, подметая пол в мастерской, – не печатник, а уборщик и надзиратель. Пойду к врачу за справкой – пусть направляют в дом отдыха, не то пойду в армию.

– Зачем тебе в армию, в мирное время все равно до генерала не дослужишься?

– Много ты знаешь, я этих генералов и маршалов анонимками вытравлю. Куплю пачку бумаги за 50 копеек 250 листов – сами подадут в отставку. Был у нас в комбинате печатник Вака Судаков, над ним все печатники издевались, он терпел, терпел, потом взял и настроил анонимку в Большой дом: такие-то и такие занимаются гомосексуализмом.

Через неделю вызвали Аркашку.

Пришел он оттуда смирный, сел, молчит в углу.

«Смотрите, чтот с Аркашкойчерез замочную скважину в баню, всех баб не увидишь, а только кусочек.

На другой день вызвали всех четверых вместе с Питятей и Джоном, и знаешь куда? В город Ломоносов, там у Аркашки дача, а Судаков написал, что там они это самое... пьянствовали.

Те, конечно, возмутились, орут: делайте экспертизу. Послали их на экспертизу, поковыряли в заду, все нормально, дали каждому по справке, они со справками в суд – писать на Судакова заявление. Но прокурор говорит: судить мы его не имеем права, нет состава преступления, он же писал «подозреваю», а каждый гражданин должен подозревать, иначе может оказаться соучастником преступления.

Аркашка с Питятей – ханыги из ханыг, да и Джон с Максом туда же, но, как говорится, пальгом накрылись. Что делать? Побить Судакова? Во-первых, неизвестно, справятся ли они с ним вчетвером, Судаков – во – шкаф, будка кирпичач просит, во-вторых, дело подсудное. Как это Судаков только на меня не написал анонимку, наверное, испугался, я ведь по судам бегать не стану, возьму ножик – и в бок. Да, смеху у нас после было, кто ни приходит, говорит: где здесь у вас в пидерасты* записывают? Лизка, у нас подружницей работала, так она каждый день их донимала: ну как сегодня? кто с кем? или не менялись? А с Аркашкой, знаешь, как мы здоровались, подойдешь и вот так, – закончил Геруля и похлопал меня по заду.

4. Герман в женском общежитии

– Помой завтра уши – поедем к бабам в общежитие лесотехнического института, – сказал мне как-то Геруля.

– Не могу, у меня жена.

– Ничего, у меня тоже.

Через день встречаю его: ну, как там в лесотехническом?

– Не был. Ездили с Джоном в первый медицинский. Бабы – во, 18 кулаков. Фиг обхватишь. Вот честно тебе скажу, ногой дрыгнет – вспотеешь кувыр-

каться. Одна как прижала, чуть меня кондрашка нехватила. Отпусти, кричу, у меня Ме-Те-Се¹. «Чего!» – говорит. – Ничего, помойку обокрали, справка у меня есть, могу показать. Еле-еле отбрыкался. Будка видишь какая, а бедняге Джону чуть аппендицит не вырезали. Ну и бабы! На миллион. Честно говорю, страшнее, чем Нинка-пьяница, от которой на трамвайной колбасе удирал. А пришли: здрасте, будьте как дома. Портвейн, закуска, магнитофон. Кукин, Клячкин, Генкин, Полоскин и этот Слезкин, Сироткин. А потом: фиг два и сплошные неприятности. Ну, я бегу, шеф вызывает.

– Подожди, расскажи поподробней.

– Нет, в другой раз.

Я уверен: Геруля постарается или совсем не затрагивать эту щекотливую тему, или перескажет все то же слово в слово. Поэтому мне придется дорисовать картину самому.

Миром правит секс, раньше его называли эрос.

Она обхватила его шею и чуть не задушила. Страсть бушевала в ней, как в марсельских девах радости, которых маркиз де Сад по прибытии в Марсель накормил шпанской мушкой.

– Пусти, – кричал Геруля, – у нас еще есть портвейн.

Она опрокинула на него правую ногу и он уже не мог кричать. Впечатление было такое, что его переехала машина, когда он удирал от Нинки-пьяницы.

– Человек камильфо*! – млела она, навалившись грудью.

– Какой камильфо, – стонал Геруля.

Тут она приступила к решительным действиям: левой ногой выключила верхний свет, а правой рукой включила торшер.

– Чего ты больше всего хочешь в жизни? – напирала она.

– Поймать зеркального карпа в Летнем саду.

А в это время Джон лежал, привязанный к столу женскими поясами, подвязками и шнуром от утюга. Ему готовились вырезать аппендицит. В рот был засунут кляп.

– Громче магнитофон! – распорядилась главная истязательница, держа наготове столовый нож.

Кукин, Клячкин, Генкин, Полоскин, Слезкин, Сироткин с исполнительностью сестер-ассистенток забегали по комнате, подавая шприцы, шпильки, пинцеты, вилки и ножницы.

– Ай! – из последних сил вырвалось у Герули.

Джон рванулся и упал на пол по закону бутерброда лицом вниз. Остальное решили секунды: Джон запустил в торшер утюгом, с налету спихнул с Герули огнedeшашую деву, и они дали деру по водосточной трубе.

– А что такое камильфо? – спросил Геруля у Джона, когда они были на безопасном расстоянии от общежития.

– Мгы, это человек благородных манер, – сказал Джон, вытащив изо рта кляп.

¹ Ме-Те-Се – можно только ссать

– Видали мы такие манеры. Как выразились бы собаки, вещь – не вещь, если она не воняет. Теперь я, как китайский император, закажу гроб и буду за собой возить. Человек камильфо – чего захотела.

5. День рождения Германа

Немец из Мюнхена, музыкант-неудачник Алоизий Зенефельдер, изыскивая дешевый способ печатания нот, изобрел литографию между 1796 и 1798 годами. Так в 1796 году им был напечатан марш для Курфальцских баварских войск, а в 1797 – романс с виньеткою, изображающей горящий дом. Зенефельдера интересовала коммерция, и он не преследовал чисто художественных целей. Это был добропорядочный немец, с хорошими манерами, не в пример русскому желудку употреблявший бутерброды из тонко нарезанного черствого хлеба с сыром и ветчиной. Золенгофский известняк с голубым оттенком – по сей день лучший в мире камень для литографии, много превосходящий грузинский, не говоря уже про абхазский или новороссийский. За два неполных столетия литография прошла сложный путь развития, сначала в художественных салонах Мюнхена, затем в салонах других столиц, пока, наконец, не появился на свет печатник Герман Петрович Прохоровский – как записано в метриках, паспорте и отделе кадров, Герман Петрович – как его называют в присутствии шефа, а наедине – Герман или просто Геруля, которому суждено сделать литографию высоким искусством. Поэтому 25 апреля 1938 года, день рождения Германа, нужно считать днем возрождения литографии.

Сегодня 25 апреля, мы едем к Герману на такси.

– Куда? – спрашивает таксер.

– На Малую охту, к алкогольному магазину.

Останавливаемся у вывески «Вино. Розлив».

– Это по историческим местам называется, – говорит Геруля.

Он берет бутылку «Алабашлы», я – бутылку его любимого марочного портвейна, и мы идем дворами на проспект Шаумяна дом 57.

– А Джон с Питятей будут? – спрашиваю я.

– Да ну их, им одним надо 3 литра алкоголя. Джон – тот пьяница законченный, две рюмки выпьет и начинает «мадмуазель» говорить, а в Питятю – как в фановую трубу...

Приходим. Геруля шарит в карманах. Ключей нет, забыл. Звонит. Ни матери, ни Наташки нет дома. Тогда он снимает шляпу и плащ – поддержи! – и бежит к соседу, этажом выше:

– Димка! У меня сегодня день рождения, а я ключ забыл.

Примерно через минуту открывается дверь, и Геруля высовывается из своей квартиры:

– Извините, что заставил ждать.

За эту минуту он успел спуститься с балкона пятого этажа на балкон четвертого и открыть ножом дверь.

– Проходи.

Геруля сходу достает фужеры, разливает вино:

– Давай, а то с утра непоинные!

Я присаживаюсь к столу, но прежде, наступив на герулину черепаху Карлушу, шарахаюсь на холодильник. Холодильник покачнулся.

– Не бойся, – говорит Геруля, – стоит, как Феликс Дзержинский.

– Ну, за твоё здоровье!

Выпили. Геруля показывает куртку, которую сшил сам из офортного фетра. Сегодня в честь дня рождения брата мастера-металлиста подарили ему три крупных медных бляхи. Сейчас прицепить бляхи к куртке, и первопечатник Прохоровский будет в полной форме.

Тут входит мать и принимается ругать Герулю за то, что влез через балкон. Геруля нервничает. Пробует надеть куртку – разбивает абажур. Мать ругается еще громче, за поломанный на балконе замок, за абажур и за эту дурацкую куртку.

Тогда Геруля переходит в контратаку:

– Ах, ты старая мерзавка, пенсионерка дохлая, опять дезинсекталь пила, чтоб тебе стыдно было, юбку носишь, так я не в претензии, куртка ей вдруг не понравилась, хочешь, чтоб меня клопы сожрали, да? Кеннеди когда убили, ей не жалко было, и этого негра Кинга, а тут из-за фиговины с морковиной, из-за абажура раскричалась. Толку-то от него, как от кочерги при паровом отоплении. Вот разбей мне голову утюгом – новый купим. А ты знаешь, в Чехословакии сейчас переворот, чехов со словаками разделить хотят и хохлов с новгородцами белой линией трехведерной, пьяница ты этакая...

Мать удаляется на кухню.

Приходит Наташка.

– Наташка у меня хорошая, не зря ее держу – портфель мне подарила, – говорит Геруля.

Собираются гости: Вальдемар, художник-самоучка, и Сережка Симашко, художник-шрифтовик, король побережья по рыбной ловле.

Вальдемар рассказывает, что ночью с перепоею видел привидение, от страха упал с раскладушки.

Сережка Симашко садится рядом с Наташкой.

– Смотри, – говорит ему Геруля, – Наташку испортишь – отвечать будешь. –

А Наташке:

– Семь раз тебя презираю, мерзавка, блевотку короткую на подол пущу!

Разливают вино.

– Степановна! – зовет Геруля мать, – (Степановна у меня хорошая, я ей шоколадку купил). Выпей с нами, Степановна, тридцать грамм алкоголя.

– Ну, за твоё здоровье, Геруля!

Мы сидим и медленно пьянеем. Потом я прошу:

– Расскажи что-нибудь, Геруля.

6. Герман на Псковщине

Когда мы выпьем, Геруля любит рассказывать про скобарей.

...Были мы летом на Псковщине у наташкиного деда. Вот как-то дед Илья заходит в избу:

– Кать, а Кать, в Пустошку поешь?

– Неа.

– Мож поешь?

– Неа.

– Чаво ж?

– Голова болить.

– Вот и проветришься.

– Неа.

– Ах, мать твою так, – бросил об пол фуражку и вышел. Сделал вид, что поехал в Пустошку, а сам пошел в продмаг алкоголь принимать, с утра непоинный был.

А Катька с сестрой взяли бутыль самогону – и на гумно.

Часа через два вернулся Илья:

– Куры...

– Чего?

– Куры...

– Нет, – говорю, – курей...

– Да нет, куры.

– А, курить.

Закурил.

– А Катька де?

– На гумне, – говорим.

Лежим мы, значит, с Наташкой, книги читаем, вдруг слышим – корова в огороде мычит, из стада удрала; соскакиваю враз – бегу на гумно хозяйке сказать, а там Катька пьяная с сестрой залезли на Илью и песни горланят.

– Катька, – кричу, – корова весь огород потопчет.

– Нехай гуляить, не вишь что ли – мужика шупаем.

Тут прибегают колхозный бык, катькина корова, видать, была на миллион – сорвался и прибежал. А бык тот, скажу, мужиков бодал без разбору, пастухи поэтому одевали резиновые сапоги, платок на голову и юбку. Катька с сестрой увидели быка и чесанули, как немцы из-под Сталинграда, они хоть и бабы, но мужика потискали – им и стало казаться, что мужики. Тогда бык бросился на Илью. Илья – в сарай, схватил велосипед – и в Пустошку. А я скорей в избу, книжку читать. Жюль-Верн, «Из пушки на Луну» называется, интересная книга.

А что потом было. Хуже, чем почечные колики. Бык шуганул всех и к корове, а корова – она как баба: ей – «в Пустошку поешь?», а она – «неа», бык разозлился, боднул корову и айда по деревне валить заборы, столбы сшибать. Прибежал в стадо, а там пастухи – лапти кверху – дрыхнут, а бык от злости стал не мужиков бодать, а баб, поддел их на рога – и в речку, а потом – на коров, разогнал все стадо; одна корова по уши в болото залезла, одна – хвост кверху и в деревню – сбила замок, спряталась в сельповский погреб, пока ее нашли, успела с перепугу (чтоб ей стыдно было) сожрать все кондитерские припасы, другая залезла на дерево и в развилке застряла, мычит – слезть не может, а одна забралась на станции в товарняк и уехала в Винницкую область...

...Геруля долго рассказывал в тот вечер, потом что-то говорил Вальдемар,

потом Сережка Симашко. Расходились полночь. Геруля проводил нас до троллейбусной остановки.

7. Герман и кинематограф

– Давай сделаем фильмец минут на десять с твоим участием, – предлагает Герману офортист Бобышев.

– Нет, меня уже два раза приглашали в кино – отказался. Режиссер Дзягизян приглашал. Приходим мы как-то с Арнольдом в «Аврору». А там – привет! – касса закрыта, осветители горят, по вестибюлю статисты ходят... ага... Подбегает ко мне мужчина в вельветовом пиджаке и тащит в угол. Лоб здоровее меня, в кармане – трубка. «Ну, – говорю, – Арнольд, сейчас нас будут грабить». А тот: «Рад с вами познакомиться, приходите завтра во столько-то на студию, прошу не опаздывать, паспорт возьмите – сразу оформим...» Записал мой адрес – «приходите, буду ждать». И, знаешь, не каким-нибудь статистом – на главную роль. «Ну что, – говорю, – Арнольд, нюхнул заграничной техники». А у Арнольда: на глазах – очки, в душе – осень. Завидует. Зашли в гастроном, взяли две бутылки портвейновой. «Рад за тебя», – говорит Арнольд, а сам чуть не плачет... Ага... На другой день проснулся я утром, не утром, а часа в два, лежу, вставать не хочется (видать, хорошо дерябнули). Мамка меня подымает: вставай, опоздаешь на съемку! Смеется. Ее один раз тоже в кино приглашали. Шла она по улице, вдруг – бамз! – резинка в трусах лопнула. Завернула за угол, поправить, а там – киносъемка. Три рубля заработала. Только встал – заваливается Арнольд с бутылкой. Разлили. «Рад за тебя», – говорит Арнольд, снял очки и плачет. «Брось, – говорю, – лапоть сельский, сопли по столу размазывать, вот я деньги получу – купим спальный мешок, палатку и поедем на речку Лентуловку раков ловить». Так я на съемку и не попал, а вечером приходят со студии: «Извините за беспокойство, если вы сегодня не могли, приходите завтра». «Нет, – говорю, – не могу, – я тогда себя художником ставил, красок гору натаскал, этюды мазал, – не могу, я сейчас живописью занят...» А в другой раз приглашал меня мой лучший друг Сережка Гурзо. Вместе с ним собирались выступить.

– И ты отказался?

– Нет, Сережка трахнул секретаршу «Ленфильма» чернильницей по башке – теперь его самого никуда не пускают... А камера у тебя какая? – обращается Геруля к Бобышеву.

– “Киев”.

– Три объектива?

– Да.

– Пойдет. А звук будет?

– Нет, откуда звук.

– Тогда отдыхай до лета. А платить будешь?

– Ну, Герман, у меня же не студия.

– Не студия – тогда отдыхай.

8. Герман о собаководстве

Тот же офортист Бобышев завел как-то с Германом разговор о собаках. Год назад он купил щенка кавказской овчарки. Собака выросла злой и непослушной, а недавно укусила хозяина, на что Геруля сказал:

– Я же говорил, что из нее психопатка выйдет. Кавказская овчарка – это не собака, ей бы только кого цапать да с ног сшибать, ладно грудная клетка, как чемодан, а попробуй у нее кость забрать или сказать: зарой – вспотеешь кувыркаться. Но я их не боюсь – собаку надо бить с первого раза, потом будет гавкать, а ближе чем на два метра не подойдет. Вот лайка – та хитрее, спереди не нападает, а всё сзади, пока повернешься, она тебя семь раз обежит и за пятку схватит.

– Так что, ты советуешь мне купить лайку?

– Зачем, купи колли, умница собака, детей будет нянчить. Адрес могу дать, а то тут Питятя купил за трешку возле гастронома щенка доперман*-пинчера, поил, кормил, в школу записал – вырос из него дворняга-алкоголик. Где, спрашиваю, твой доперман-пинчер? – Убежал, говорит, и не вернулся.

– А что ты думаешь насчет фокстерьера?

– Фокстерьер у Ветки был, тоже мне разнервничается, аж сердце стучит, мамка у Ветки докторша, она ему на ночь капель давала, чтоб успокоился, злой пес, кто ни придет – всех за штаны хватал, у меня три пары в клочки пустил, с виду замухрышка, а так не хуже овчарки. Вот скажи, в зоопарке от кого больше всего несчастных случаев? От львов или медведей, или от тигров? – фиг два. Есть там такая коза-не-коза, вроде газели, как только работница нагнется, она – бамз рогами под зад. Нет, фокстерьера не бери, честно тебе скажу.

– Может, мне дога купить?

– Дог дурак, ведро мяса в день съедает, а толку от него, как от кочерги при паровом отоплении. Вот у меня была Найда, умница собака, на границу отдал ее служить, из кабака меня пьяного приводила.

– А какой она породы?

– Цыганская овчарка. Я ей две медали подвесил: спортивного общества «Урожай» и серебряную за окончание средней школы, кто спросит: за что медали? – двух волков загрызла, говорю.

– А где ты их взял?

– На помойке нашел. Умница была, работаю я семь часов – она семь часов под столом сидит, кисточки об нее вытирал. А вообще, я тебе скажу, никакой собаки не надо, заведи ты лучше любовницу – и расходов меньше, и не покусает.

9. Герман в гостях у дураков

– Алиска с утра звонит мне, три ноль семь, три ноль семь, говорит. Чего, говорю, ноль семь? Дурак, говорит, не понимаешь, «столичная» – три ноль семь. Ах так, говорю, ну посмотрим, кто дурак.

Нажрались мы плодотворно, умрешь со смеху, кончилось тем, что я одному лысому утром на плешь воды налил.

– Кому?

– Да, жених из Москвы, художник из великих, с вечера я его не заметил, а утром налил – он и обиделся. Дурак, говорю, чего обижаешься? Всех их дураками обозвал, чтоб корифеев из себя не строили, как с вечера начал – так и до утра. Они мне: негодяй, – а я им: дураки, говорю, кто ж вы еще? Если вот так, между нами, то мне всё равно, а что касается искусства, то дураки. Кориф, оно понятно, его лучше 15 раз дураком назови, но скажи, что он великий, а я: дураки – и все. Вальдемар, говорю, вот ты скажи, дураки они или нет? Вальдемар: ме, ме – не хочет отношения портить. Чего «ме, ме», говорю, дураки – так и говори, что дураки. Выставили меня из квартиры, сначала в парадной обрабатывали, потом на улице, а я как закричу: дураки! – на девятом этаже слышно, и отработываю задний ход. – Бросьте его, – говорит Алиска, – он дурак. А я ее не трогаю, и так известно, что дура, а пру на ее жениха, не на того, который из Москвы приехал, а на хозяйина дома, Судакова, который на нее торчит.

– Дураком его обозвал?

– Ага. А он детина здоровый – во. Под окном у него старухи судачат, то да се, он подойдет, лавку подымет – они сразу шесть штук в кучу. Бабки привыкли, что бы ни случилось, все на него валят. А тут мы купили водку, пельмени; хотели разогреть, включаем – газа нет. Сели, пьем без закуски. Он откуда-то достал дохлую селедку, сует мне: на, закуси. Дурак, говорю, нашел на помойке – сам и употребляй. Чуть-чуть он меня не прихлопнул – не успел, кто-то позвонил – и завалилось шесть старушенций, седьмая в дверях стоит. – Такой, сякой, негодяй, – орут, – опять у нас газ отключил, включай сейчас же. А – он не отпирается. – Бабки, – говорит, – идите по домам, сохраняйте спокойствие, газ будет. – Бабки ушли, он, слышь, на меня: жаль, говорит, что ты мой гость и закон гостеприимства не позволяет вздуть тебя, как следует, но если не прекратишь эти штуки-дрюки, то начнется против тебя интервенция. Дурак, говорю, ты со своим дурацким гостеприимством, все вы тут дураки. Потом они меня на лестницу вытащили, «дураки!» – кричу, а сам задний ход отработываю, еле ноги унес. Надо ж, какие дураки, чтоб я еще когда с такими связался, вот честно говорю – никогда. Жаль Питятти не было, мы бы им показали.

– А где Питяття?

– Уехал пьянствовать в Кишинев, а Вальдемар что? Ме да ме, дурак законченный.

10. Герман предлагает писать книгу

Да, Геруля решил никогда больше не попадать в компанию к дуракам, но, как говорил один деятель, собрав свои вещи и сдав в сберкассу, после чего его отправили в сумдом, такова жизнь и не нам ее осуждать. Буквально через день Геруля снова рассказывал про Алиску:

– Алиска – она на дырку слаба, как ляжет – сразу отдается. Муж ее в городе научной работой занимается, а она в Маргышкино. Приехали мы, значит, сели, выпили. «Пора бы искупаться», – говорит Алиска. «Не купаться, а совокупляться», – говорю. Погода стоит... вот есть такая сороконожка-не сороконожка, не то жук – не то каракатица, так ей все равно: минус 126 или плюс 117, но Алиска

разделась и – фить в воду. Арнольд, кобёл, за ней. А залив в Мартышкино – 9 километров пешком по колено. Темно. Дождь пошел. «Пойдем, – говорит Аркашка, – там еще поллитра осталось, выпьем». «Нельзя, нужно понаблюдать. Оснос – мой лучший друг, вдруг чего». (Оснос – это Алискин муж). Смотрим: Арнольд зафордыбачил вдоль по берегу в одну сторону, а Алиска – в другую. «Ладно, – говорю, – пойдем». Потоптались по арнольдовым штанам и пошли. Темно. Ничего не видно. Дождь идет... Через полчаса те прибегают – колени трясутся, а согреться нечем. «Прохвост, – говорю Аркашке, – всю водку, мерзавец, вылакал». А тот стоит, рот раззявил, макароны жрет. «Что, – говорю, – думаешь, если макароны вдоль глотать, то вырастешь?» Аркашка метр 55, импотент законченный. Легли, значит, спать, вдруг слышу: шуры-муры, Арнольд на Алиску лезет. Беру полбулки обдирного хлеба – и Арнольда по зад. Арнольд – ай! – под потолок подскочил: «Чего, я ничего, согреться хотел, замерз». Через полчаса слышу: полез Аркашка. Итить твою за нос, тоже согреться захотел, мерзавец. Дал ему буханкой под зад. «Вставайте, – кричу, – стройся! Сейчас по одному буду в форточку выбрасывать! (Я там самый сильный был). Не позволю, чтоб жену моего лучшего друга позорили!» Обиделся я на них. Забрал арнольдов магнитофон и уехал. Полночи домой вез, пока на первую электричку попал.

– Магнитофон хороший?

– Килограмм 20, едва допер. Вот где бы теперь нам пленку взять, тогда...

– Что тогда?

– Будем книгу писать. Я буду говорить – ты будешь обрабатывать. Я и сам пробовал, но две страницы напишу и в философию впадаю. Приходи.

11. Соседи Германа

Я бывал у Германа, в основном, в торжественных случаях: в день рождения, День печати и т.п., и не имел возможности описать его соседей по двору и лестничной площадке. Но на сей раз я пришел по делу – писать книгу – без сносок на портвейновую, поэтому восполню этот пробел. В книге должно быть все по порядку.

Пока Геруля возился с магнитофоном, я вышел на балкон. Стоял погожий день, во дворе под грибком малоохтинские хулиганы Ванька Шпрот, Зуб и Сережка Калабаха играли в карты, внизу на балконе сушилась вобла.

– Герман, а кто здесь живет?

– Хохлушка, националистка, ненавижу всеми фибрами моей души и остальными частями тела. Муж ее, Федя, работает по двадцать часов в сутки, халтурит, только спать приходит, а напьется, так она его пилит – фур, фур. Я ему говорю: что ж ты, дурак, пока работаешь, она блудит направо-налево, не можешь морду ей что ли побить. Он напился и вложил ей пару хороших. Хохлушка прибегает, жалуется мамке: Герка, мерзавец, научил – мой Федька никогда бы сам не додумался...

Прямо над Германом – квартира усатого Димки, с которым Геруля морил клопов; с его балкона он перелезал тогда 25 апреля, в день рождения. Димка – личность вполне достопримечательная и, если представится случай, о нем будет рассказано отдельно.

Через площадку от Германа живет толстый Витька, личность ничем не примечательная, кроме того, что по праздникам по три часа стучится к себе в квартиру, где запирается пьяный тесть, пока теща Эльма Августовна в гостях, потом просит у Германа зубило, молоток и взламывает дверь. С Эльмой Августовной Герман постоянно скандалит из-за телефона, телефон у них на блоке, а Эльма Августовна – это Эльма Августовна.

– Готово, – позвал Геруля, – давай сюдой.

Он нажал кнопку – в магнитофоне что-то треснуло.

– Валерка, так дело не пойдет, беги за портвейновой!

– Пустой я, Герман.

– Пустой, тогда выйди на лестницу и крикни: пожар! – все скобари сразу с чулками выбегут, а ты культурно попроси рубль до завтра.

– Нет, лучше я позвоню.

– Не надо, сам позвоню, Наташке.

Телефон был занят, Эльма Августовна висела на проводе.

– Мамка! – крикнул Геруля Степановне на кухню. – Вот видишь, как твоя Эльма Августовна поступает, а ты еще хотела, чтоб я ее мужу долг 4 копейки отдал.

Геруля вышел на лестницу, стукнул в дверь. Эльма Августовна тотчас открыла – в испуге за дверь, которую так часто высаживают.

Скандалисты, по словам Германа, делятся на два типа. Одни без лишнего шума и постороннего глазу скандалят у себя дома, другие, наоборот, скандалят на людях. Сам Герман был не прочь всполошить соседей, но Эльма Августовна увела его на кухню и оттуда ничего не было слышно.

Поскандалив, Геруля вернулся:

– Я понимаю, что баба за бабу, но зачем кровь проливать... Наташка, прощай! В 12 часов отходит поезд во Владивосток – уезжаю; жизни нет, довели до белого каления, да трезрый я, прощай, наплевать мне на расчет, я хочу клопов и паутину на углах, а мне неприятности со всех сторон, Наташка, ну ты сама понимаешь, каково мне жить на этом свете, что я вижу – фиг под носом, вот ты, самый близкий человек, полтора рубля не можешь дать, что мне остается делать, ты ведь знаешь, кто ты для меня, причем тут Оля и Таня, все мы братья, понимать надо, да не пью я, у меня почки болят, поезду зайцем, без прописки, без всего, уши не буду мыть, зубы и так не чищу, Вальдемар дома, можешь позвонить, видишь – ты какая жалкая крыса, презираю тебя и тещу вскупе*, наконец-то я понял твою сущность... Что? Даешь полтора рубля? Тогда давай уж трешку, поездку придется отменить, выкинешь в окно и 20 копеек в нее завернешь, чтоб не летала, а падала прямо вниз, умница ты у меня...

Наташка живет в одном дворе с Герулей, ее дом выходит на Таллинскую улицу, перпендикулярную Шаумяна. До сих пор Геруля с ней не расписан, потому что не уплатил еще 30 рублей за развод с первой женой. – Женюсь на той, кто за меня заплатит, – говорит Геруля.

После портвейновой дело наладилось, магнитофон заработал без дыма. Увидев во дворе картежников, Геруля начал:

– Дряболознули мы, значит, я, Ванька Шпрот и Сережка Калабаха. Ванька

тут под окном устроился. Сережка Калабах в садике под кустом, а я пошел в милицию. Иду, иду, вдруг смотрю: меня уже везут. Мост Александра Невского как раз тогда открывали, ленточку приготовили, а я, значит, первый по мосту...

– Герман, подожди, про это потом, давай с начала, в книге должно быть все по порядку, а то ничего не получится.

– С какого начала?

– Ну, хотя бы с того, как стал печатником.

– Давай.

12. Герман – верхолаз

Оказывается, прежде чем стать печатником, Герман прошел большую жизненную школу.

– Могила я копать – мастер на два миллиона. В Ленинграде три кладбища: Марии Магдалины, Чумное и Православное, небось знаешь.

– Нет, я там не был.

– Скобарь, это моя родина. Где кладбище Марии Магдалины – костел стоит, так вот решили там сделать физическую лабораторию, всякую фиговину с морковиной, а вокруг были склепы, до хрена склепов, а нас в команде было шестнадцать человек верхолазов...

– Выходит, ты верхолазом был.

– Был, тетка у меня общественный деятель, взяла и устроила. Так вот, работаем мы в костеле, а там вокруг костела склепы; начальник у нас был еврей Рубинштейн, называл нас пожарниками («пожарники мои, все по местам!»), обмундирование каждые три месяца выдавал; так вот сидим мы на крыше, в карты играем, смотрим сверху – два лаптя отбойными молотками склеп фугуют, дырку продолбили, бикфордов шнур подожгли – как рванет, вытащили гроб, ломом – бамз, бамз – открывают, а в гробу-то углекислый газ был, спичкой чиркнули – как рванет, всех разнесло; бабы-штукатуры побежали, вызвали скорую помощь, а мы сидим на крыше, наблюдаем, только скорая уехала – тут мы слезли и давай сами склепы взрывать, штук двадцать раскурочили, хоть бы одну золотинку нашли – фиг два.

Тогда мы сбегали в магазин и снова залезли на крышу, я, монтер Ким Закусовский, Санька Зуйков (мой ровесник, 19 лет, два ребенка, пьет каждый день) и Леха Сивухин. Выпили и заспорились, что такое пролетарий.

Я говорю:

– Пролетарий – это неимущий.

– Хрен тебе в зад, – говорит Леха Сивухин и лезет драться.

Тут заявляется наш прораб Тарасов.

– Владимир Владимирович, – говорим, – скажите нам, что такое пролетарий.

– Пролетарий я знаю что такое, а это что, – и показывает на водку, – сейчас же марш к Неве, окунитесь, мать вашу так.

Пошли мы, нырнули, вдруг гляжу: плывут по Неве мои чехословацкие ботинки, Ким Закусовский, гад, спихнул, ну я ему потом подстроил не хуже, раз по пьянке выбросил в форточку его ботинок, а возле дома стоял четырнадцатый трамвай с открытыми окнами, прямо в окно попал, трамвай и уехал.

Вылезли мы, холодно, пивка б надо попить, рванули туда за Володарский мост, пропустили по кружке-другой, взяли малька, тут Зуйков говорит:

– Чтоб я, едрена вошь, да Неву не перебежал! Разбегается – и в воду, смотрим: Санька тонет. Ким схватил лодку – и спасать, выловили мы Саньку, он опять мокрый с ног до головы, купили поллитру, пришли в костел, сидим на крыше, режемся в карты.

Прибегает Тарасов, мать вашу так, кричит. Владимир Владимирович, говорим, неужели побрезгуете с нами выпить. Выпил – и с копыт. Прибегает Рубинштейн: мать вашу так, в рот и так далее. Санька Зуйков встает: благодетель ты наш, давай в нашу компанию. Хороший был парень Санька, не повезло человеку. В первый раз из-за этого Рубинштейна чуть концы не отдал: вставлял замок в его «Волгу», а сам подшофе был, вставил, залез в багажник – проверить, закрылся и уснул. Рубинштейн, как ни в чем не бывало, отвез его домой. Мы, конечно, со смеху в покатку катались, а Санька еще б немного и задохся.

А тут однажды прибегает его жена, кричит: Санька, мой лучший муж, напился тройным одеколоном, забрался на шкаф и умер. Стали мы его хоронить, картошки наварили, грибов, а я грибов не ем, на другой день прихожу на работу – никого, вся бригада в дизентерийном бараке. А как мы его хоронили? Эти ханыги, которые могилу копали, напилься и в могиле уснули, а выкопали всего с полметра. Санька-то уже портиться начинает, тогда я беру лопату, раз, раз, за десять минут – готово, вот честно скажу, могилу копать – я мастер на два миллиона. Знаешь, про покойников я могу тебе столько рассказать...

– Нет, про покойников не надо.

– Что же тогда рассказывать? А я тебе рассказывал, как ездил в Москву? Нет? Слушай.

13. Герман в Москве

Вызывает нас Рубинштейн к себе, говорит:

– Пожарники мои, поедете в Москву на ВДНХ делиться опытом.

Выдал командировочные, билеты на «Красную стрелу». Поеду, думаю, посмотрю хоть на Москву, а между собой договорились, что каждый приносит в вагон по литру.

Сели в поезд, через пять минут отправление – Лехи Сивухина нет. Где Леха, никто не знает. Провожажущих просят из вагона. Бегу к начальнику поезда. Не отправляйте, говорю, Лехи Сивухина еще нет. Вдруг, едрит твою налево, бежит по платформе Леха с носильщиком, волокут бидон, а бидон, с чем бы ты думал, с пивом. Я первый как приложился – чуть не до станции Бологое, потом, чувствую – захмелел, пошел проводницу охмурять, была там одна рябая.

Приезжаем в Москву, головы болят, водки до хрена осталось, надо б выпить, да нет стакана. Ким Закусовский поднял шум на весь вокзал: что это за Москва – стакана не найти! Прибегает милиционер: тише, тише, – достает из сумки стакан, а что нам один стакан на шесть рыл? – вернулись в вагон. В это время из репродуктора: поезд №1 отправляется на запасной путь, – до двух часов в тупике пьянствовали, пока нас не нашли и не отвезли в гостиницу «Красная заря». Привозят – Ким Закусовский в скандал: что за дыра, может, вы нас еще

в Дом крестьянина устройте. Тогда нас в «Москву», а «Москва» в Москве – самая лучшая гостиница, на бутылке из-под столичной нарисована. А вообще, Москва нам сходу не понравилась, кормят в столовых хреново, тарелки железные, суп-горох, капуста; мы, как в гостиницу залезли, так дальше, чем на 14 этаж в буфет за алкоголем, никуда не ходили, тумбочки в номерах, под дуб-под ясьень, крышками от бутылок ободрали, от фанеровки ничего не осталось.

Кутили всю дорогу, меняться опытом было не с кем, потому что те, с которыми нам обмениваться, тоже были косые вдрызг. Я десять дней не разувался, Ким Закусовский с перепоею стал пугать шкаф с туалетом, Леха Сивухин спал в туалете на тапочке, а китаец Ли, практикант из Шанхая, сажился на унитаз лицом к стенке.

На десятый день собрали бутылки, денег уже ни у кого нет, купили молока, пошли на ВДНХ, наворовали кукурузы и сварили кашу.

Обратно летели самолетом. Место у меня 17, у Лехи Сивухина – 17-а, садимся, а на лехином месте иностранец-американец, джентльмен с чемоданом. Леха ему: какого хрена? – А он: ту ю ту. Тогда Леха хватает его за рукав и – швырк в проход. Выскочила стюардесса: ту ю ту, – извиняется. Ладно, сели, сидим. Стюардесса несет на подносе конфеты, я раз – пригоршню, а Леха берет поднос и в карман сыпает, американцу ни фи́га не досталось. Только самолет взлетел, Леха глянул в окно и как закричит:

– Стой! Деревню мою проезжаем! – Побежал к летчикам в кабину: – Стой! – Мы за животы схватились, а все новаторы-рационализаторы.

Прилетели, на другой день Рубинштейн вызывает к себе:

– Ну как, пожарники мои, съездили?

– Отлично.

Больше нас никуда не посылали,

Ну, на сегодня хватит, – Геруля выключил магнитофон. – Разлей, что там есть в бутылке; мамка, иди выпей с нами, а то помрем, тебе выпить не с кем будет.

14. Герман о тунейдцах

Я понимаю, что допустил еще один просчет, представляя Германа, как правило, в часы после работы, на досуге, вне трудового процесса, и бесспорно постаралась наверстать упущенное. Но чтоб переход не был слишком резким, побудем сначала в компании Германа на работе во время перекура.

Герман берет лист бумаги, карандаш и обращается к Осипычу, печатнику-напарнику:

– Как вы думаете, сколько в нашем районе собак?

– Штук сто будет.

– Мало, вместе с дворнягами запишем: тыща. Сколько милиционеров?

– Не знаю.

– Пусть тоже тыща.

– А сколько дворников, работников ОБХСС, оперуполномоченных, инкассаторов, плановиков, штатных инструкторов?... Вот и подсчитайте: сколько на одного рабочего тунейдцев приходится.

– Ну это ты, Герман, брось, какой же дворник туняедец?
– Ладно, дворник, допустим, нет, а кто, по-вашему, туняедец?
– Туняедец – это тот, кто живет за чужой счет, например, родители у него богатые, сам он не работает, а выманивает у них деньги.

– Ну и что? Так бы они деньги в чулке держали, а он их в оборот пускает, пользу народному хозяйству приносит. От кого больше толку: от счетовода, который в месяц пятьдесят рублей расходует, или от него? А работает туняедец – будь здоров, не всякий директор столько работает, вы думаете, легко деньги выманивать, вот я у вас рубль попрошу, вы мне дадите? – фиг. Или мамке говорю: дай три рубля, соверши хоть один геройский поступок, – не дает. Или на улице вас пьяный остановит, попросит восемь копеек до дому доехать, скажете: знаем, до какого дома, на политуру собирает, – а сами побежите, купите малька и будете в туалете принимать, чтоб ни с кем не делиться. За всю жизнь я только один раз рубль пятьдесят выманил и то у китайца. Когда верхолазом работал, был у нас практикант из Шанхая, умный, рис не ел, да у нас тогда рису и не было; Леха Сивухин ему и говорит: привезу-ка я тебе из Комарово лягушек. Целое ведро привез, а мы, чтоб приятное сделать этому китайцу, начинаем их варить. Сварили – китайца кондрашкахватила, просит меня: выброси ведро – дам 20 копеек. Нет, говорю, меньше, чем за рубль 50 не согласен. У меня даже его фотокарточка сохранилась. Ли – его звали, рубль дадите – завтра покажу, не даете, а зря: китаец на сегодняшний день трешку стоит. То-то.

15. Герман и женский вопрос

(по телефону)

– Алло, Геруля, привет, что делаешь?
– Наташку ругаю, все помыслы мои направлены сейчас на это.
– За что ругаешь?
– Трубка она клистирная, призри ее семь раз, как я, бить их, баб, надо, как в Китае, палками по пяткам.
– Бил?
– Пробовал.
– Ну и что?
– Орет, как крыса на тонущем корабле, а результата никакого, лучше я ее совсем прихлопну и сяду в тюрьму, будешь мне конфитюр в передаче носить.
– Не надо, Герман, плюнь, она все-таки женщина.
– Если б женщина, женщина у нас дефицит, а баб – от Москвы по шпалам не пересчитаешь. Чем больше живу, тем больше баб ненавижу, бабы – это гнусные и мерзкие создания, они созданы для того, чтоб гибли лучшие умы человечества. Валерка, давай будем с тобой уничтожать баб, нож у меня есть, ружье купим, давай, а то пропадем. Вот Сережка Смишко связался с бабами – они его дистрофиком сделали, в больнице лежит, умирает. Вчера мы с Арнольд-дом, дураки, ездили туда, товарища навестить. Приезжаем: выходит сестра – нет его, ушел в ботанический сад. Умрешь, дистрофик с бабами гуляет. А он поворкует: мур, мур – баба к нему, как курица, на крыльях летит, всех сестер в больнице испортил и врачу за день перед свадьбой, бабский прихвостень,

товарищ называется, чтоб я еще к нему пошел. Сколько раз говорил: посмотри на себя, ведь ты просвечиваешь, тени от лампочки не даешь; а он бабу увидит – сразу возбуждается, совершенства, говорит, ищу, ишь чего захотел, я, может, тоже на Джину Лолобриджиду рассчитывал, а женился на дворничихе. Валерка, не трать зря время, покупай ружье, рогатку я уже сделал, всех баб перебьем.

– Герман, не могу, рука не поднимается.

– А я что, по-твоему, Мобуту?

– Нет, но без баб нельзя.

– Значит и ты против меня?

– Нет.

– Так чего ж ты нервничаешь, как рыба на льду, я все продумал, слушай: баб нужно от мужиков отделить, одних послать в отдаленные места, других – на почкование, мужики будут, как фон-бароны, заниматься своим делом, войны никогда не будет, потому что война из-за баб, венболезни исчезнут, экономика будет развиваться – все будут работать, а не разводить трали-вали, культура, наука и ремесла будут процветать, а захочешь бабу – напишешь заявление: на такое-то число прошу выдать блондинку, брюнетку – что хочешь.

– Нет, Герман, ничего из этого не выйдет.

– Как не выйдет, что ж, по-твоему, пусть продолжают безобразия? Да? Мы должны или победить, или погибнуть, слышь? Иначе верх возьмут бабы. Ты только подумай: прихожу сегодня после работы к теще голодный, а она – хи-хи, Наташка – ха-ха: не хотите ли кофейку. Нет, чтоб налить, а потом предлагать. Это все равно, если б тебя выловили из океана, ты 12 дней не ел, а тебя из вежливости спрашивают: что вы имеете против томатного соку. Я – кулаком по телевизору и как закричу, а они вдвоем – на меня, я еще громче. Бабы, вы молчите, кричу, вы ничего не понимаете ни в жизни, ни в направлениях современной дефиниции. Бабы – это классовый враг, как Бухарин и Зиновьев, вас по недоразумению сотворил Христос или Бог. Будь я там наверху, я бы вам показал, что почем. Наташка – хи-хи: а кто мне ноги целовал? – Когда? – Когда трешку просил. – Так это в телефонную трубку и то потом три дня в больницу ходил. Валерка, давай объединимся, завербуем еще Вальдемара и начнем.

– Вальдемар не пойдет.

– Пойдет, он с женой поругался, совсем баба человека окрутила, зову в гости – не может, жена не пускает, сблочь ее приятелям, говорю, – боится. Потасила его к родственникам на именины, Вальдемар с горя надрался и упал по дороге домой в лужу, где лягушки икру метали, тоже мне жена, уследить не может. Валерка, у всех нас один выход – вооружаться и никаких...

– А как же с книгой?

– Успеем.

– Ладно, подумаю.

16. Как Германа застрелили

Когда я вошел, Герман лежал на кушетке, держа утюг на животе, и стонал:

– Умираю, сил нет.

– Герман, а я ружье купил.

– Врешь.

– Вру.

– То-то, дружок, баб пока оставим, почки болят... Включай лучше магнитофон, расскажу, как меня застрелили, сегодня другое не пойдет... Значит так: приходим мы раз, я, Зуб, Ванька Шпрот, Гудок и Сережка Калабаха, на троллейбусную остановку на углу Таллинской и Шаумяна, стоим, ждем. Вдруг бежит мужик с ружьем, патронташ на шее болтается. Всех перестреляю! – кричит и шомполом машет. Бабки-пенсионерки – кто куда, а мужик в меня целит, ну, думаю, – хана, не убьет, а только попортит, хорошо, Ванька Шпрот на мужика сзади навалился, все впятером схватили за ружье – мужик и шарханул два раза в воздух. Народу набежало, как на барахоловке. В милицию его, кричат. Спокойно, – говорит Зуб, – сейчас мы туда его доставим, – а мужику шепнул: вот сдадим тебя участковому, а попадешь к Бороде – меньше семи лет не получишь, и то считай за праздник. Мужику, видать, кто-то морду побил, он прибежал домой, схватил ружье и побежал искать виноватого.

Привели его тудой к теще. Теща ревет: радетили мои, благодетели, отпустите – все отдам. Выложила нам полный кошелек денег – мы, конечно, в «Розлив», так хряпнули, что я в больницу Мечникова попал. Дурак, думаю, лучше б он меня застрелил, чем от почечных коликов помирать.

А мужик, как ни встречает, до сих пор благодарит: я для вас – что хотите, хоть на коленках на Петроградскую за троллейбусом. За троллейбусом, говорим, не надо, а два восемьдесят семь на московскую – устроит.

Да, но больше всего я перепугался, когда Юрка Патефон за мной с ружьем бежал. Играем мы, значит, с цыганами в футбол, я на воротах стою, а Патефон не играет – семечки возле ворот луштит. Вдруг мяч к нему попал – он и забил гол. Не считается, говорю, он не играл. Но цыгана не переспоришь – скулит, а меня скулежом не возьмешь, засветил ему промеж глаз, тогда он побежал, схватил ружье. Чуть я в штаны не наложил, удираючи, всю Малую Охту обегал. Вот-вот – жду, сейчас стрельнет, а Патефон скулит, не стреляет. Часа два бегали, пока Патефон на куст не наткнулся, а под кустом Сережка Калабаха пьяный спал. Тут он ему и врезал. Ага. Потом оказалось, что ружье без приклада, один ствол.

Но ружье – ерунда, в меня два раза из нагана стреляли. Иду я раз по проспекту Шаумяна, с одной стороны фонари горят, с другой нет. Вижу: стоит на углу Таллинской мужик и наган на меня наводит – стой, стрелять буду! Я руки кверху, а сам боком-боком в тень. Вижу: у мужика не наган, а ключ старинный, такой, как у меня дома на стенке висит, или какой Наполеон хотел, чтоб ему при взятии Москвы на подушке вынесли. Дал я ему, гаду, прикурить, вспотеет кувыраться. Ишь чего захотел – в Прохоровского стрелять, я уже и так стреляный.

А, знаешь, один раз меня совсем застрелили.

Играли мы с цыганами в волейбол, играем себе, играем, приходит один в хромовых сапогах с галифе и начинает меня учить, как играть надо. Деревенский ты парень, говорю, тебе не в волейбол играть, а лаптем щи хлебать да коровам под хвост заглядывать. Тут он обиделся, пойдём, говорит, поговорим. Зашли за угол, достает он наган и как шарханет – прямо в лоб. Схватился я за

голову, мозги вылетели! – кричу – и в поликлинику. Как жив остался – сам не знаю, вот видишь: ямка – сюда и попал. Наверное, лоб крепкий, Прохоровская порода. Вообще, я с детства такой, будка 40 х 40, хочешь фотокарточку покажу, вот: я – два года, с лестницы упал, дед Прохоровский, чтоб не ревел, отвел меня в фотографию.

17. Герман в дурном расположении духа

Пришла с работы Степановна, Геруля снова застонал:

– Мамка, подогрей утюг, не то запущу его в телевизор.

– Перестань, Герка, сколько можно хулиганить, надоело.

– Какое хулиганство, человек умирает.

– Туда ему и дорога.

– И тебе не жалко?

– Нет.

– Вот видишь, кто ты есть, я ж говорил.

– Герман, хватит придуриваться.

– Я не придуриваюсь, я умираю, неотложную вызывал.

– Ну и что?

– Пришел старпер, уролог, «как живете?» – плохо, «пьете?» – бывает, а на столе полбутылки тридцать третьего номера стоит. Предложил ему рюмку, потом вторую, потом он сам захотел, у него тоже почки – коллега. Привезли меня в больницу, вставили клизму сифонную – у меня аж солитер вышел, вот-вот, думал, в форточку вылечу, потом обратно в кабинет к урологу залечивать раны – спирт лучше всего помогает; хороший дядька попался, не веришь – пойди проверь, у него до сих пор стоит очередь, ждут, когда принимать будет.

– Зачем тогда стонешь, если помогает?

– Оттого, что лекарства не хватило, со спиртом теперь строго, выдают под расписку, это тебе не дезинсекталь.

– Герка, перестань, до чего ж ты противный, когда напьешься.

– Я не пил, я, не в пример некоторым, проходил курс лечения, мамка, а знаешь, почему дезинсекталь пьют? Мне доктор сказал: потому что дуст за вредностью перестали выпускать – осадок от него в легких, пыль по всему свету распространяется, на Северном полюсе двух пингвинов поймали... марш скорей на кухню!

– Что ты меня понукаешь, я тебе не приживалка какая-нибудь, черт пьяный, усы развесил.

– У меня не усы, у меня мерзавчики.

– Сам ты...

– Степановна, щыц... Валерка, говорил я тебе: покупай ружье – солдат без ружья, как баба без языка. Эх, Степановна, Степановна, стыда в тебе нет, единственного сына не жалеешь – выпить нельзя, пол пачкать нельзя, даже ручку в туалете сильно дергать нельзя, а потихоньку с чувством, вот умру – плакать будешь... Хоронить будете... Арнольд с Валеркой впереди медали на подушке несут...

– Какие медали?

– Твои, у тебя ведь есть две штуки, Джон с Питятей сзади идут – плачут, выпить не с кем. Наташка ревет – на кого несчастную в цвете лет покинул...

– Ну, пошел, пошел, горазд болтать.

– Мамка, еще одно слово – и два часа драки. Ты посмотри на людей: кто держит собаку, кто канарейку, кто аквариум, а у тебя – я, а мы можем предъявить претензии и гораздо серьезней – я ведь не хотел родиться, родила – так радуйся.

Степановна ушла на кухню.

– Видишь, ей сказать нечего, она и поступает, как у нас бабки в деревне: юбку подымет, зад покажет и уйдет победителем. Наконец-то выпроводили, можно спокойно поработать, мамка, сиди на кухне – не выглядывай! Так от чего мы отвлеклись?

– От того, что дед Прохоровский отвел тебя в фотографию.

– Правильно, морда у меня не фотогеничная, фотографируюсь, потом сам себя боюсь, знаешь, а может, сегодня больше не будем, перенесем на субботу, отправим Степановну к бабке в деревню, тогда и продолжим.

– Герман, как хочешь.

– Не надо «Герман», говори «Геруля», а то как у верховного прокурора.

– Геруля.

– Вот и хорошо.

18. Герман-печатник

По пути к дому, в троллейбусе, я думал о Германе-печатнике...

Утверждая, что Герман лучший печатник за всю историю литографии, я ничуть не преувеличиваю, ибо опираюсь не на домыслы, а на реальные факты.

Когда Герман собирался уйти с работы, ему моментально сделали предложения все литографические мастерские города, шеф поднял переполох, приезжал Колька-офортист из Академии, который в День печатника после принятия алкоголя хотел заехать офортисту Бобышеву по носу, а попал Осипычу в ухо, он уже без документов оформил Германа и привез аванс, Джон с Питятей тянули в комбинат, приезжали с кафедры графики пединститута, звонили из Владивостока, Перми, Кишинева, Одессы и других городов, осталась безучастной только Москва, но всем давно известно, что в Москве искусства нет, там занимаются политикой и торговлей. Давид Альфаро Сикейрос прислал из Мексики телеграмму с искренним сожалением, что из-за дальности расстояния не может пригласить к себе такого великолепного мастера, тысячу раз извинялся и передавал привет от Роберто Абригона Морадоса. Остальную за границу, весь буржуазный Запад, мы даже не будем принимать в расчет, их попытки в сфере искусства обречены и в историческом масштабе не имеют никакого значения...

Есть у Германа один конкурент – это его напарник Осипыч, произведший в свое время в технике печатания литографии переворот. Карьеру он начинал подручным в мастерской при журнале «Чиж и еж», два года шлифовал камни, растирал краску, бегал за водкой. Мастерам не было резону раскрывать секреты и обучать подручных (в мастерской пять печатников – пять станков), Осипыч, бывало, нет-нет да и сунет нос – узнать, чего там химичат, а мастер – раз! – валиком по лбу: не подглядывай. Но однажды мастер заболел, а назавтра, хоть

убей, нужно было выдать тираж. Заметим, что литографские камни обрабатывали тогда классическим способом, идущим еще от Алоизия Зенефельдера: камень травили, по несколько дней выстаивали, обжигали паяльной лампой, Осипыч всего-то и знать – не знал, успел подглядеть только первых три операции: заканифолить, протравить и перекатать по-сухому. Так и сделал. Заканифолил, протравил, перекатал и тиснул. Видит – дело пошло. Раньше с камня печатали 1000 экземпляров, потом камень снова обрабатывали и так через каждую тыщу, а Осипыч с перепугу взял и прогнал весь тираж 10000 экземпляров. Его, конечно, на доску почета, произвели в мастера и послали в Москву делиться опытом. Приезжает Осипыч в Москву, а там потеют, коптят – печатают портрет Кагановича. Осипыч устроил им разгон, в один день весь Президиум обработал. Если, листая руководство по литографии, вы не встретите там имени Михаила Осипыча Р-цева, – не удивляйтесь, в России часто или замораживают изобретения, или забывают изобретателей. На судьбу Осипыч не ропщет, пребывает в бодром предпенсионном состоянии, сидит на окладе, от литографии почти совсем отстранился, препоручив ее Герману, и занимается гравюрой по линолеуму. Поначалу они с Германом вздорили на предмет, кто есть кто, но «московская особая» разрешила конфликт в пользу Германа.

Думается, что нет необходимости доказывать дальше исключительность Германа как печатника, в этом можно легко убедиться, хоть раз взглянув, как он работает.

19. Герман–печатник

А как работает Герман Петрович! Валик в его руках вертится точно угорелый, шпатель свистит, станок допотопной немецкой марки «Карл Корнер Горлитц» теряет арийское спокойствие и начинает подпрыгивать. Уже давно во всех мастерских сделали на станках электрический привод, но Герман крутит колесо вручную, мотор ведь может отказать, да и нет в нем чутья, необходимого для искусства. При внешней легкости работы Герман Петрович умеет держать марку фирмы и, чтоб на этот счет не возникло никаких заблуждений, литографам, пришедшим печатать, сообщает:

– Сегодня печатать не будем – жарко, камень тенит, – или:

– Сегодня холодно, краску не раскатать, приходи завтра.

Назавтра протравит камень и говорит:

– Отдохни пару дней, пусть камень выстоится, тиснем зато на миллион.

– Герман, а быстрее нельзя?

– Нельзя. Раньше, знаешь, мастера по полгода камень обрабатывали. Художник возьмет камень, на телегу погрузит – и в деревню, там к какой-нибудь молочнице пристроится – полгода молоко пьет, потом приезжает, берет новый камень – и опять на полгода. Отдохни, сходи в буфет, пока не закрыли.

Но вот наступает торжественный момент, когда вы у Германа Петровича на приеме. В этот день он выделяет вас, с вами он особенно приветлив, крепче обычного жмет руку.

Вы долго ходили с ношей и вот, как роженица, вы у врача и судьба ваша в

его руках. Можете быть спокойны – перед вами искусный врач, заботливая бабка-повитуха и опытный хирург. Случись даже, что плод не доношен, или, не дай бог, у вас внематочная беременность, или вам потребуется сделать кесарево сечение, – он сделает все, чтобы это прошло для вас безболезненно. Даже, если ребенок окажется мертв...

– Тащи камень! – командует Герман.

– Не могу, тяжелый.

– Ничего, найди еще одну лошадиную силу. Тащи!.. Давай-давай... Так... Начнем... Присыпем, прошкурим края... Травление готово... Суши! (сует вертушку)... Суши, суши, не спи. Молодец... Почистим валик... Так... Подгоним ребер... Перекатаем... Крути!.. Эх, тинктуры нет, ничего, на тебя хватит... Давай-давай... Покажи бумагу... годится... Стоп! Куда полез? Выдь из моего стойла... Ну... Вон твоё место – там шебурши... клопов дави, делай обלאвы... Усек?... Клади бумагу... Скорей, слышь... Так... Давление есть, поехали, ух!.. Ну как? Отлично. Фирма. Что на витрине,.. не спеши,.. то и в магазине... Давай-давай, начнем по одному...

Через час тираж закончен. Герман курит. Думает. Оттиски сложены стопкой. Краска на них еще не просохла, как молоко на губах младенца.

Мастер сделал свое дело, ему нужно отдохнуть.

Последняя команда:

– Ставь камень на место и переменными галсами на выход!

– Спасибо, Герман.

– Спасайся.

20. Герман о культуризме, системе йогов и голодной терапии

Есть еще одно качество, которое отличает Германа от других печатников. В мастерской за работой часто возникают побочные разговоры, поднимается ряд вопросов, требующих ответа. И Герману приходится заменять Брокгауза и Эфрона. Не пытайтесь, ради бога, меня в чем-либо заподозрить, ведь я ссылаюсь на эти почтенные имена не для красоты слова. Приведу такой факт. Был у меня знакомый поэт, автор стихов на исторические темы. Стихи писал исключительно по Брокгаузу и Эфрону. Откроет энциклопедию, прочитает страницу – напишет стишок. Но беда в том, что у него были не все тома, а только до буквы «П». Мало-помалу зашел человек в тупик, поговаривали уже, что исписался. Тогда я познакомил его с Германом Петровичем, и тот с успехом заменил недостающие тома. Поэт вышел из кризиса, в среде литераторов считается даже одним из столпов.

Вот и сейчас в мастерской зашла речь о культуризме, системе йогов, голодной терапии, и Герман вынужден был навести порядок:

– Культуризм – ерунда. Мышцы накачают, а силы: плюнь – помрет, имел я раз разговор с одним женихом, он сразу завоображал, я таких, как ты, говорит, пять штук делаю. Как я ему двинул, он через всю комнату летел в пожарный ящик с песком, – и ушел спать. Пришел Арнольд – вылил на него ведро воды. Тот очухался и тянет на Арнольда. Пришлось вмешаться, не то, вижу, делов не оберешься: я стукнул – чуть не прибил, а что будет, если стукнет Арнольд?

Арнольд недавно попал на званый ужин и там чемпиона мира по боксу Поппенченку уделал.

– Как?

– Так. Плюнул в морду и ушел победителем. А, представляешь, что было, если б он этому культуристу заехал. Платил бы всю жизнь пенсию. Вот тебе и культуризм, а еще конкурсы красоты устраивают, дескать, мы мужчины. Знаем, мы таких мужчин. Лизка-подсобница рассказывала: поехала она на юг и подцепила там красавчика, мускулы – во, ну, думает, рай земной и 44 удовольствия, а он – пых, пых – мужских дел сделать не может, как писал Пушкин «не смея милого обидеть, берет Луиза микроскоп, ага, и говорит: позволь увидеть...», дала ему пару пинков под зад, дальше у Пушкина многоточие. Вот так. А прибежит какой-нибудь пьяненький, плюгавенький мужичишка – и будь здоров!..

Система йогов нам тоже не годится.

– Зря, Герман, можно почки вылечить.

– Нет, в России испокон веков привыкли все измерять вагонами, мешками и ведрами. Картошку варить – ведро, чаю – самовар, вдумчиво дышать натошак – не наше дело. Единственно, что я признаю, – это голодную терапию. Коль жрать – так от пуза или совсем ремень на последнюю дырочку затянуть. Под Москвой клинику открыли, любую болезнь лечат, не говоря уже про почки и язву. Лежишь себе, пьешь одну воду, на восьмой день исчезает чувство голода, появляется чувство юмора. К ним со всего Союза письма пишут, пустите поголодать. Не берут. У нас, отвечают, только 50 человек могут голодать, мест нет.

– Герман, а ты пробовал голодать?

– Пробовал, с мамкой и Наташкой поругался, 4 дня не ел, голодовку объявил.

– Ну и как?

– Наташка расстроилась, 12 дней не ела, мамка – три недели, у одной язва зажила, у другой гастрит, а у меня на четвертый день живот раздуло, вызвали неотложную.

– Почему?

– Да так. Мамка только отвернется или уснет – я на кухню, да еще у Димки-усатого подкармливался, голодать, оказывается, надо под наблюдением врача, а я, скобарь, не учел. Вот.

21. Герман об истоках творчества

Тем более Герман бывает на высоте, едва речь коснется вопросов искусства. Всем памятен эпизод, когда в мастерской возник некто Фолкинд, не то вторая скрипка, не то первый альт, скорее всего виолончелист Малого оперного театра. Сидя у себя в оркестровой яме и глядя искоса на па-де-де, он нечаянно сообразил, что неплохо бы в мире искусств сделать нечто такое, чего отродясь и не было. Ход его мыслей был примерно таков. Поскольку балет искусство синтетическое, где соединена музыка с живой пластикой, то кто нам мешает соединить музыку с пластическими искусствами, живописью и т.д. С этой идеей он появился в мастерской и стал сыпать словами, вроде: концепция, модификация, дистрибуция, сенсбилизация. Герман тотчас его перебил:

– А ты про баб что-нибудь рассказать можешь? – спросил он и с этого момента разговор пошел об искусстве:

– Ну и ну, напугал ты нас, цветная музыка, музыкальная живопись, да этим еще Скрябин и Чюрленис занимались, инженер Леонтьев аппарат изобрел. Лева Нузберг пустил его в дело, построил установку и собирал по рублю за вход. А что хочешь ты? Включить магнитофон и художник начнет творить?..

– Нет, я предлагаю не фиксировать процесс, а выражать сущность музыки.

– Брось, какая сущность, пойми: сидят художники, кто рисует, образно говоря, чайник, кто кастрюлю, кто портрет, кто чего; ты включаешь магнитофон и что, по-твоему, это на них подействует? Кто рисовал чайник, нарисует кастрюлю, а кто рисовал портрет, нарисует лошадь – жди. Художник, я тебе скажу, прежде чем что-то сделать, носит это в голове, спроси вон у Макаренки.

– У какого Макаренки?

– Конечно не у того, который чужих детей любил, – у художника Макаренки. У Валерки спроси, как его профессор, покойный Бучкин, работал, дай бог ему здоровья. Представь. Задумал дед написать Венеру перед зеркалом, а крутом война империалистическая и сам он моряк-подводник в Кронштадте, – натуры нет, тогда дед удрал в самоволку, высмотрел санитарок, тех что в натуральном виде в заливе купались, подкрался, нырнул и все подсмотрел, – вот тебе и музыка.

– Герман, ты меня не понял. Музыка я ставлю выше остальных искусств...

– Ага, давай–задувай, а что скажут на это в интернате глухонемых? Знаешь, ты вроде того монгола, с кем я имел честь беседовать. Мы, говорит монгол, всю культуру сделали, вспоминает хан Батыя, Чин-гис-хана, Византией, дескать, правила, вот так на море смотрели, а в Испании быки разбежались, в корриде овцы одни, бе... Слышь, ничего просто так не бывает. Вот я задумал картину. Так я месяц только холст готовил. Нашел у мамки в сундуке пейзаж художника Клевера, взял из под него подрамник, а Клевер, скажу, в Петербурге был самый модный живописец, в каждом доме минимум по два Клевера висит. Кстати, как работал Клевер. Выйдет на пленер, поставит мольберт – рядом коньяк с клюквой. Пару мазков сделал – стопку опрокинул. Картины пек, как оладьи, вот и результат: в комиссионном магазине за него сейчас больше трешки не дают, подрамник стоит дороже картины. Что музыка, что ром с колокольчиком – без разницы, суть в другом. Ладно, пусть я не пример, но, допустим, ты пришел к кому-нибудь из корифов, члену Союза, пусть даже не лауреату и не народному, заведешь магнитофон и, думаешь, он будет плясать под твою дудку? – фиг. Да у него заказ, он договор заключил, получил процентовку, нет, дорогой товарищ, ступайте домой и спите спокойно – вы не туда попали. Это все равно ежели придти в стол находок: что потеряли? – кальсоны, – приметы? – грязные. А мы тут при чем?

22. Предки Германа

С субботы на воскресенье Герман-таки отправил Степановну в деревню и мы продолжили наше занятие. Герман включил магнитофон:

– Дед мой, Прохоровский, был певец варшавской оперы, лирический баритон, дворянин из дьячков, остался от него рояль да скрипка. Мамка посему отдала меня с сестрой Галькой в музыкальную школу, я – на ф-но. Галька – на скрипке, деньги дала, сходили мы несколько раз, ДО-РЕ-МИ выучили, как до ФА дошло, я говорю Гальке: чем деньги на чепуху тратить, лучше купим на

них билеты в кино и мороженого впридачу. Целый месяц вместо школы мороженицу посещали. Дома гости соберутся – мамка просит: Герик, сыграй что-нибудь, покажи, чему научился. Нет, говорю, нам еще показательные выступления не разрешают делать, можно методу испортить. В конце концов все раскрылось, всыпали нам, как следует, рояль и скрипку сдали в комиссионный – музыкант из меня не вышел. А дед был молодец – пел, стихи сочинял да еще фехтовал на шпагах.

Другой дед, мать его так налево, который по мамке, на «Варяге» служил. Пойдешь с ним в баню – он весь в наколках: это в Китае, это на Малайе, это на Филиппинах, – болтать любил, как сивый мерин, про разные заграницы, что вы, скобари, сидючи дома никогда и не увидите, а сам всю жизнь в плену сидел. Еще Цусимское сражение не началось – он уже в плен попал, 7 лет просидел, потом мировая война – попал к немцам, потом к англичанам, только где какая заварушка начинается, глядишь – деда уже для порядка упрятали. Бабке извещения шлют, «погиб на водах», «погиб на водах»...

А тут как-то получаем от бабки письмо, пишет: дед ходит по пионерским лагерям и рассказывает, как ОНИ революцию делали... Не любил я его, мерзавца, хвастун, не приведи господи, одно будто и утешение – поболтать, пока бабка не слышит. Бабка-то выше меня ростом, деда тем более, степенная, в дверь не пройдет, а дед худющий, нос в дырках, как сыр голландский. Только он начнет антимонию разводить – бабка его раз за грудки – и на кровать, лежит дед, плачет – моряк. Бабка из предков одна в живых и осталась, всегда ее вспоминаю, когда смотрю хоккей по телевизору, вот, думаю, запихнуть бы бабку вместо вратаря в ворота, и ворота были бы спасены, и бабка подзаработала. Отправил к ней Степановну, чай, наверно, сидят пьют и судачат, как мы с тобой, умрешь со смеху.

23. Детство Германа

– Приехали мы в Питер вместе с роялем в 44 году и поселились за кино-театром «Гигант». Дед, как полагается, умер, отца на войне убили... Через три года отправили меня в первый класс.

– Сколько же тебе тогда было?

– Девятым, а я не спешил, да и после – пока по дороге в школу все лужи, канавы, помойки, свалки облазишь, так в школу иной раз и не успеешь. Мамка мне тетрадки расчертит под А, под Б, а в классе у нас хулиганы были, лбы лет по 13, тетрадки у меня отберут, в результате они пятерочники, я двоечник. Драться с ними – все равно, что кидаться с утюгом на паровоз, вот я и закрепился в двоечниках...

– Хорошее время – детство, тогда я еще не пил и ни разу не был женатым...

– Прямо у нас за домом лужа была типа болото. Все детство я с колом по болоту в корыте катался. Раз десять тонул. Спасали.

– И ты не боялся?

– А чего бояться? Потонешь – составят акт, время было такое, послевоенное...

Герман достал фотокаточку.

– Вот наша компания, этот утонул, этот взорвался, этот сейчас алкоголик, этот сидит...

– Недалеко от нас стоял склад, рядом – свалка, оружия мы натаскали, как партизаны, у меня был браунинг, ракетница, гранат штук пять, мешок пороха,

пол-ящика патронов – не хватало пулемета. Притащил снаряд и спрятал дома в мешке с картошкой...

Многого не помню, помню: чем мы занимались – это устраивали разные гадости. Идет по улице бабка с сеном, сзади подкрадешься, зажигалкой – чирк, сено вспыхнет, бабка: караул! А мы довольны. Или дымовых шашек по улице набрасаем; машины тормозят, шоферюги из кабин выскакивают – мать размазть, пробка на четыре квартала, но ехать вперед опасно, мы для полной картины посреди улицы уже табличку выставили: «Проезд закрыт – заминировано». И еще были хохмочки: часы на цепочке, не часы, а футляр, за ниточку привяжем – и на тротуар. Сами сидим в укрытии. Идет пенсионер: часы! Обрадуется – нашел. Только братъ, а мы ниточку дерг – и ха-ха-ха, восторгов полные трусики. Или ночью к окну картошку на нитке прицепим, другой конец протянем куда подальше и вот так: тук-тук. Из окна выплядывают: кто? Никого. А мы опять: тук-тук. Выйдут на улицу – никого. Напугаем – всю ночь не спят... А которых за хулиганов считали, те шуток не признавали. Подойдет на улице к гражданину и тычет пальцем в пиджак: чья пуговица? – Моя. Раз – оторвет: бери, коль твоя. Скажут: нет – заберет себе. Не твоя – значит наша.

– А из наганов стреляли?

– Нет, боялись: мужики увидят – отберут, оружие прятали на случай изменения международной обстановки. Стреляли из самопалов по кошкам, кто больше.

– И сколько на твоём счету?

– Ноль без палочки и три миллиона. Охотился за одной рыжей без хвоста – она в общественный туалет забежала, я как жажнул! – и попал в унитаз «Торнадо»... Чего смеешься, сельский, сам, небось, пороха не нюхал, а у нас один снайпер, мир праху его, взорвался – это тебе не флы-муфлы.

А однажды мы чуть из пушки не выстрелили. Герка, говорят мне, беги домой за снарядом. Приволок я снаряд, зарядили. Грохнем? Давай! Куда? В универмаг и побегим скорей грабить. Зарядит-зарядили, навели прямой наводкой, а едва дело коснулось за шнурок дернуть, тут все и трухнуло.

– Чего ж вы?

– Промедлили, как декабристы на Сенатской площади, пока нас мужики не попутали и пинков под зад надавали. Нагорало нам, вообще, изрядно. Как где что – нас во дворе выстраивают по росту и прорабатывают солдатским ремнем в нужном духе.

Из пушки мы и стрельнуть-то не успели, но слух уже по дворам разбрелся, бабки-пенсионерки нашушукали, что в городе орудует вооруженная банда. В квартирах все повставляли по полдюжины замков, серьги и кольца спрятали, чтоб самим не найти, а мы ходим важные, нос кверху... Никаких хулиганов и бандитов не было, не видел я их.

Да, хорошо в детстве, голод был, кроме жмыха вроде и есть нечего, а все же хорошо – детство.

24. Герман смотрит телевизор

– Давай передохнем, – предложил Герман, – посмотрим телевизор. Подвигайся ближе, а то смотришь из-за угла, как старый еврей из утиля на уголовный розыск.

По первой программе выступал ансамбль песни и пляски имени Моисеева, по второй – ансамбль Одесского военного округа.

– У, Квазиморды, – выругался Геруля. – Мамка обижается, что я телевизор хочу поломать, а что такое телевизор, если рассудить на трезвую голову, и для чего его выдумали? Телевизор, я понимаю, сделали, чтобы пенсионеры по поликлиникам не просиживали. Раньше было у них как? Играли в карты, разговаривали о погоде, о новостях, о болезнях – глядишь, у Марии Никитишны голова закружилась, а у Петра Егорыча под ложечкой закололо – скорей в поликлинику. Теперь уткнулся в телевизор, хоть слон свистни, мамку – ту совсем не оторвать, днями голодный хожу, стираю сам, в ванне, как енот, брызгаюсь. Добро бы что-то путное показывали. Мультипликацию или баб голых. Представляешь, баб голых выпустить – Симашко в телевизор влезет.

– А ты?

– Я нет, я на женщин смотрю, как на литературу, как писал Кнут Гамсун.

– И как литература?

– Не печатная. Не перебивай. Зачем мне телевизор, скажи, разве по телевизору могут показать что-нибудь такое, чего просто так не увидишь? А? Сижу я на днях на кухне, мечтаю. Вдруг – брюм – из соседнего дома со второго этажа баба голая выпрыгнула. Народу набежало: хи-хи, ха-ха. Звоню Димке усатому: в чем дело? Информбюро у нас работает не хуже, чем в деревне. Свалился давеча в парадной пьяный, прилег отдохнуть – через пять минут весь дом знал, что денег у него нет, часов нет и что он член городского общества экслибристов. Оказывается: два доминошника-пенсионера, которые с утра до вечера козла забивают, сообразили по рублю на поллитру, заманили с улицы бабу, раздели, а как дошло до дела, то заспорились, чья баба. Решили сыграть три партии, кто победит, а баба тем временем – в окно. Скандал. Телевизор, ничего не скажешь, и шашистов поубавил, и лотошников, и картежников, но доминошники народ крепкий, им нужен другой репертуар.

Почему дети сейчас такие грамотные стали? Потому что они могут смотреть передачи для взрослых, а что могут посмотреть взрослые из того, что смотреть нельзя? Надо написать в телецентр – пусть закрывают эту баламутку или меняют программу.

25. Герман о телефоне

Позвонила по телефону Наташка.

– Наташка, не мешай, мы заняты. Не успели одну выпроводить, как вторая на горизонте. Пошла бы ты в кино или парикмахерскую, хоть раз прическу себе сделала, бигудей на плешивую голову накрутила... Что? Пойдешь и не придешь?.. Ох ты, умница, правильно сделаешь, ну будь здорова...

– Слышал? То-то. Сам воспитал. Сначала ей два года внушал, что дура. Дура, дура, говорю. Встретил приятеля – он говорит: что ж ты делаешь, причаешь ее, что она дура? А она и на самом деле того. Скажешь: иди исподнее постирай – не идет, дура я, говорит. Так я теперь уже полтора года ей «умница» говорю. Позвонил Симашко.

– Серега, привет, что новые кадры?.. Из ДЛП... два отдела... иди ты... нет сегодня не могу, возьми Джона, я занят – книгу пишу... хорошо, позвоню. Бывай.

Герман положил трубку.

– Вот так без конца. Улю-лю, трали-вали, ква-ква-ква – и винтишь винтик на самый тихий ход телефона, а все друзья-приятели. Штаны и телефон пропьют – звонят из автомата: Геруля, у меня рубль есть. Едрит твою так, у меня три рубля, да я и видеть тебя не хочу... Ей богу, телефон для неврастеников. Брынь-брынь – целый день, а у нас тут цыгане, и Павлин звонит, и Телега, и Патефон... Телефон вроде для удобства и цивилизации, но чем это оборачивается на деле? Бедного Симашку бабы замучили насмерть. Он мне звонит, а попробуй дозвониться до него, номер наберешь, а там короткие гудки, Симашки, может, и дома нет, ушел на танцы, а ему покинутые невесты со всего города без перебору звонят... Наконец, соединяют. Позовите, просишь, квартиру полномочного Симашку, иначе не позовут.

– Почему?

– Его вся квартира спасает, на женский голос сразу вешают трубку.

– Герман, но у тебя ведь мужской голос.

– Ну и что? А вдруг баба такая... Была у меня мысль совсем отключить телефон, но я от нее отказался. Пришел ко мне пьяный Арнольд, маэстро на постном масле, и уронил телефон на пол, что-то в нем звякнуло – я звонить могу, ко мне нет. Тогда Судаков слух по городу распустил, мол я специально телефон поломал, чтоб меня не трогали. Раньше хоть звонили, теперь пошли прямо ко мне стройными рядами: извини, до тебя не дозвониться, пришел в гости...

– И ты, конечно, починил телефон?

– Нет, не успел, пришел пьяный Вальдемар, уронил его еще раз на пол и телефон заработал... Однако, мы опять отвлеклись. Вырубай телевизор, поедем дальше. Про студию в доме культуры им. Цюрупы я, наверное, рассказывать не буду, если интересно, попроси Арнольда, расскажу, как стал печатником.

26. Как Герман стал печатником

В том, что я стал печатником, виноват Сережка Симашко. Друзья мы с ним с детства, в ясли вместе ходили, у него был с земляничкой горшок, у меня с клубничкой. А было это в тот год, когда я себя художником ставил, весной что ли, взяли мы этюдники и поехали на рыбалку. За весь день клюнул один окунь фигов, замерзли. Пойдем в «Пиво-воды», зовет Симашко. Прицепил мне окуня на шляпу, окунь хвостом дрыг-дрыг, стоим у ларька, а ханыги смотрят – не знают: то ли им померещилось, то ли нет, – они никак уже по седьмому заходу делали, один только спросил, как на озеро пройти. Оказалось – это художник Емельянов на рыбалку приехал. Он меня потом и устроил в комбинат.

Стал я работать подручным, мастер у меня был Петров Иван Иванович, потомственный печатник, тысяча восьмисотых годов, таких нет, на два миллиона. А в чем, скажи, заключается процесс обучения? Подай то, принеси это, сбегай туда, верно? Подручные обычно артачатся, а мастер, чтоб себя показать, еще пуще нажимает. Питятя вон по сей день в подручных ходит. Но я делал не так. Надо за бумагой на склад – Иван Иванович, сию минуту, на базу – еду на базу, смазать станок – Иван Иванович, готово, полку прибить – мелочи, Иван Иванович, хоть десять. Петров еще придумать не успеет, чего сказать, а я ему

для агитпункта: Иван Иваныч, занавески надо б на окна повесить. Верно, говорит, а то солнце прямо в глаза целит. Иван Иваныч, а в кино не хотите. «Индийская гробница», две серии, я билеты достал, а водочки с лимончиком, пожалуйста – он еще не чихнул, а ему: будьте здоровы. Печку приволок, обед готовил, Иван Иваныч, соляночка грибная, ваша любимая, извольте, – от всех забот Петрова освободил. Герман, огород надо на даче вскопать – к вашим услугам, Герман, пойди погуляй с Бусей (а Буся капризная, он ее у Аркашки купил, было у того две собаки: Муся и Буся, Муся медаль на выставке получила, а Буся померла в ванне от истерики), – гуляю с Бусей. Все делал: чистил, скоблил, драил, таскал, переставлял, утюжил, я тебе и столяр, и жестянщик, и монтер, и водопроводчик, сантехник и такелажник, и по совместительству – печатник. Петров доволен («Как дела в соцстроительстве?» – Отлично.), с утра напьется, печатник он потомственный, водка до революции 44 копейки литр стоила, сядет пьяный на стул и командует: краски больше накатай, краски меньше накатай. Я на его месте, а он наоборот, где подручный, ему говорят, что ты делаешь, Иван Иваныч, под себя яму роешь, а он рукой машет – наплевать. Но как утверждал начальник 3-го отделения госбезопасности Дзержинского района, всегда имеется процент утечки информации, – дошел слух до начальства, нас взяли и совсем поменяли местами, я еще трех месяцев не проработал, вдобавок Судаков помог...

– Написал на Петрова анонимку?

– Нет, ставь литр, говорит, сделаю тебя мастером. Договорились. У них с Петровым нелады были, а жили они в одном доме, Петров на 4 этаже, Судаков на 5-м, антенна от петровского телевизора возле его окна проходит. Судаков возьмет и вставит в антенну шпильку – Петров скорей телевизор разбирать, монтера вызывает, только наладит – Судаков опять, а тогда как раз первенство мира по хоккею передавали, Петров совсем на работу перестал ходить, каждый день с утра телевизор чинит – его и уволили. Через полмесяца является довольный, наши, говорит, выиграли – опомнился в ладоши хлопать, когда уж с музыкой прошли... Так я и работал в комбинате, пока шеф меня сюда не переманил.

– А Питятя тебя не подсиживал?

– Куда ему, он только и может в магазин за алкоголем бегать.

Это был последний сеанс звукозаписи. Опасаясь, что мы окончательно скрутим магнитофону голову, Арнольд забрал магнитофон.

27. Сон Германа

На двери в мастерскую висит табличка:

«Ответственный за противопожарную безопасность, порядок и сохранность имущества Прохоровский Герман Петрович».

За час до окончания работы Герман никому, даже себе, не позволяет в мастерской курить. Мы курим в коридоре. Говорит Герман:

– Сны мне снятся в последнее время все цветные, широкоформатные. Представляешь, поле. Август. Солнце светит. Хлеб только скосили. Бабы сидят по сторонам...

– Голые?

– Иди ты, в сарафанах, как у Кустодиева, я разбегаюсь – и на лыжах с холма прямо по стерне, бабы смотрят, а я два сальто-мортале делаю и улетаю, как ни в чем не бывало, в бесконечность. Четыре раза один и тот же сон видел, точно в кинотеатре повторного фильма. К чему бы это? Без конца думаю, видишь: в усах три волосинки седых показалось.

– Ну это мы сейчас растолкуем.

– Врешь.

– Не вру. Правда, нужны подробности.

– Какие?

– Была ли среди баб Наташка?

– Понимаешь, не успел разглядеть, но вроде не было. Дня мало, не хватает, чтоб я ее еще во сне видел, пусть она лучше в помойном ведре затеряется.

– А Оля или Алиска?

– Еще чего, Оля. Олю во сне увидишь – не проснешься. Будет тебе не цветной фильм, а немой детектив. Я ее где ни увижу – бегу без оглядки.

– Боишься?

– А ты что думал. Придет ко мне домой, сядет и смотрит, как журавль, а тебя не видит – видит, что за тобой пальма растет, ты спрашиваешь: как здоровье? – а она не слышит, смотрит, что пальма за тобой на два сантиметра подросла, и говорит: я от тебя ребенка хочу, – а у нее папа – начальник тюрьмы города Читы.

– Понятно, Алиски, значит, тоже не было.

– Странные ты штучки-блинчики выдаешь, толкователь, с Алиской я вообще не связываюсь. Муж ее, Оснос, недавно на басовой струне от гитары повесился. Два раза обкрутил, дернул и оборвался – всю задницу поцарапал, а все из-за того, что Алиска кому-то по-слабости отдалась – меня еще там не хватало.

– Ясно.

– Что?

– Ты мечтаешь уйти от прежних связей и обрести в любовных делах свободу, поэтому: поле, бабы, простор...

– Допустим, про свободу и без сна ясно, но причем тут любовные связи?

– Видишь, тебе хотелось, чтоб бабы были не в сарафанах, а в натуральном виде, но будучи человеком скромным и целомудренным ты остался таким и во сне, однако твои тайные мысли легко обнаружить. Перед тобой голое, скошенное поле и ты катишься на лыжах вниз. А по Фрейду скольжение (вниз) как раз и означает наличие сексуального момента.

– Не фига дает, сексуальный момент! Пускай твой Фрейд скажет спасибо, что его не поймали на Малой Охте и не кастрировали. А зачем, по-твоему, я сделал сальто-мортале?

– От восторга.

– Ерунда, мне четыре ночи подряд снятся цветные сны, а ты какую-то похабень несешь. Если б я хотел охмурять баб, стал бы я играть в пашки. Слушай. Я представляю это так: мне просто захотелось прокатиться на лыжах, а коль сейчас лето, не буду же я ждать зимы. Поле кошеное, чтобы не портить урожай, бабы сидят для красоты, сидели бы там мужики, что сказал бы ты

вскупе с Фрейдом? Шли по лесу дровосеки – оказались гомосеки? А сальто-мортале два раза сделал – показал бабам задницу, как я их презираю, и улетел в бесконечность. Понял. Больше тебе ни одного сна не расскажу.

28. День печатника

Раз в году, в день, вычисляемый то ли по лунному календарю, то ли каким-то хитроумным способом, печатники города собираются на съезд. О дате извещают особо, повестка дня остается без изменений: каждый приносит с собой поллитра водки, не считая портвейна. В ходе дискуссий обсуждают происшествия минувшего года, выясняют отношения, кончается все большим концертом художественной самодеятельности.

Я давно просил Герулю взять меня гостем на съезд, наконец услышал:

– Готовься, завтра поедем, состоится торжество на 33 стакана.

Собрались у Аркашки, во-первых, у него позволяет метраж, во-вторых, Аркашка из тех хозяев, у кого гости чувствуют себя как дома, – стопку опрокинет – и готов, через час – трезвый, опять опрокинет и т.д.

Первым прибыл Судаков, за ним старейший печатник города Сечкин, за ними последовали остальные...

Питятя, едва переступив порог, разглядел на столе ром с колокольчиком и глаза его загорелись, как у морского окуня. Подтолкнул Арнольда:

– Каков натюрморт, а?

– Тебе это все равно, что слону дробина, – хмыкнул Арнольд.

Питятя обиделся:

– Джон, иди сюда, устроим маленький еврейский погром. Выясним, кому здесь не делали обрезание... За Арнольда вступился Макс.

– Ах ты, интеллигент порхатый... – попер на него Питятя.

– А ты кто?

– Никто.

– А тебе чего?

– Ничего.

Регламент съезда внезапно стал нарушаться. Обычно до первого стакана все молчат, после первого начинают слегка раскачиваться, после второго – сводить счеты и лишь после третьего доходит до драки. А тут на тебе: еще не пили, а уже шум – кроют один другого матюгом, посылают на три буквы, на букву Б и прочие буквы... Пришлось остановить зарвавшихся.

– Петя! – вмешался Геруля. – Кончай дуру корчить, подумай лучше о своих новых штанах в голубую клеточку, сходи-ка ты в туалет на предмет малой физиологической потребности.

Пришел Симашко с двумя дамами.

– Симашко, живой! – обрадовались все разом. – А мы слышали, что ты умер.

Сели за стол. В центре в роли бандерши Алиска.

Геруля немедля прикопал бутылку портвейна.

– Мой девиз: подальше положишь – поближе возьмешь, а то здесь, видишь, какие будки. Не зевай! – подмигнул мне Геруля.

Заскрипели стулья, дружно заработали ножи, вилки и челюсти.

– Стоп! – Судаков ударил кулаком по столу. – Аркашка речь будет говорить.

– Господа, собственно так... – начал Аркашка, опрокинул для храбрости стопку и упал.

Максимум за полчаса основная часть программы была выполнена, съезд вошел в русло, между вторым и третьим стаканом присутствующие разбились на группы.

Старейший печатник Сечкин устроился с Осипычем за письменным столом. Играли в шашки. Кто проиграет – тот две рыбки поймает. Офортист Бобышев судил. Подошел Колька-офортист, и чуть не повторились кадры прошлогодней хроники, когда Колька намеревался заехать Бобышеву в нос, но попал Осипычу в ухо. Спасло редкое обстоятельство. Известно, что у человека одна нога короче другой и стоит ему потерять ориентир, например, в лесу, как он принимается ходить по кругу. То же при воздействии алкоголя. В прошлом году Осипыч сидел с другой стороны по ходу Кольки-офортиста, теперь же, описав дугу, Колька проследовал мимо и дальше: мимо туалета, закрытого изнутри, в ванную и там влез под душ в пиджаке при брюках и подтяжках.

Проиграл Сечкин и направился ловить двух рыбок, но не на Неву (по уговору), а к ближайшему водоему – в ванную. В дверях они столкнулись. В голове Кольки-офортиста контакт попал на контакт, замкнулась цепь намеченных действий и он заехал Сечкину в ухо. Провальсировав по коридору, Сечкин врезался в стол, за которым Арнольд с Максом обсуждали вопрос о влиянии фольклора на язык Гоголя. Быть буче, задень Сечкин Судакова, но он благополучно свалился под стол на Аркашку, а последовавший по инерции Колька кучей малой упал поверх Сечкина. По пути Колька еще успел шлепнуть по задку Алиску и сказать: Ах ты, Симашкина радость!

Симашко на кушетке охмурил трех дам сразу: Алиску, Лизку-подсобницу и блондинку, аркашкину невесту, – своих дам он заблаговременно выпроводил. Вальдемар в компании Судакова мужественно опорожнял бутылки, Геруля успевал по этой части не отстать от них, вовремя подливая в стакан, а в остальном: он сидел со мной в стороне и подталкивал меня в бок:

– Не зевай, шпикуха, востри карандаш!

Арнольд с Максом перешли к обсуждению вопроса: можно ли проникнуть в другую галактику и обратились за помощью к Геруле.

– А ты попробуй вместе с ОБХСС проверить кошелек своего соседа, – был ответ.

Арнольд потребовал разъяснений, но Герулю отвлекли Джон с Питяттей, и вопрос остался открытым.

Джон уже давно вошел в кондицию и говорил всем «мадмуазель», однако и Питяття, как ни странно, был тоже хорош. Он заманил Джона в угол, чтоб поговорить о боге.

– Бог есть, – сказал Питяття.

– Пардон, мадмуазель, не знаю.

– А я говорю – есть.

– И я говорю.

– Герман, иди сюда, скажи нам, есть ли бог.

– Братья, бросьте вы это, – сказал Геруля, – какая нам разница – есть бог или нет. Если он есть, то слава богу, что есть, если нет, то ничего не поделаешь – бог с ним,.. –

и ко всем:

– Братья! Я вот что вам скажу, зачем нам что-то делить, все мы умрем, так выпьем за то, чтоб собраться нам там и еще раз выпить...

– Молодец, Геруля, дай я тебя поцелую!

– Морду б ему набить, – возмутился Судаков.

– Цыц ты, жених хренов, чему бывать, того не миновать. Я уже памятник нам всем замыслил, из бронзы, Валерка, записывай, так: скала и мы все на нее карабкаемся, вот-вот залезем, Питятя выше всех, почти за край ухватился, а на скале – фига. Выпьем, братья!

События продвинулись за четвертый и пятый стакан, уже скинулись по рублю и сбегали в гастроном, Геруля растолкал Аркашку («Что ты спишь, мужичок, уж весна на дворе»), Аркашка пришел в себя и расшевелил Сечкина, Сечкин – Кольку-офортиста, все опять сели по местам.

Заскрипели стулья, заработали ножи, вилки и челюсти.

– Стоп! – ударил кулаком по столу Судаков. – Аркашка хочет сказать...

– Господа, собственно так, споем, что ли, – выдал Аркашка и опрокинул стопку.

– Споем! – подхватил Питятя.

Запели:

Папа Пий Девятый
и Десятый Лев
пили гоголь-моголь с грогом
и ласкали дев.
Аристотель мудрый,
древний философ,
пропивал свои штанишки
за сивухи штоф...

И хором:

Папа Пий Девятый
и Десятый Лев...

– Стоп! – крикнул Судаков. – Станцуем!

– Русская народная блатная хороводная! – объявил Питятя.

– Давай, давай! – загорелся Джон. Втроем они отбачали трепака.

– Ух, ух, – ерзал Сечкин на стуле, – ух!

Страсти не утихали допоздна.

Шумели на лестнице, раз пять бегали в магазин, Алиска варила глинтвейн...

Как-то ненароком Геруля сказал мне, что у Осипыча, когда выпьет, будка – красней нет, тут же я был свидетелем, что у Осипыча по этой части есть немало конкурентов.

Наконец все притихли и кто-то попросил:

– Герман, расскажи про скобарей.

И Геруля начал:

29. Герман на Псковщине

– Помню, иду по Новочеркасскому смурной и гордый, пива попил, вдруг вижу: около пивного ларька – Наташка.

– Что делаешь? – говорит.

– Ничего.

– Поехали в Опочку.

– Поехали.

Собрали вещи, взяли селедки в чемодан, тете Кате в подарочек, – и на автобус. А у меня в заначке портвейновой три бутылки. Пока Наташка в окно смотрела, как яблони расцветают, я ти-ти-ти-ти – выпил. Приезжаем в Опочку, выезжаю задом наперед. Деревня красивая, журавли по улицам ходят. Пришли к тете Кате, а она меня в городе только раз видела, когда я у Наташки пьяный на кухне спал.

– Здравствуй, Геруля! – говорит. Узнала.

Сели. Тетя Катя поставила печь оладьи, вдруг – ах! Сарай загорелся. Все туда. Мужики бегут с баграми, Наташка с бабами воду с речки ведрами носит, а я скорей к печке, чтоб оладьи не подгорели. Пока тушили – сарай сгорел. Получили 250 рублей за страховку.

Сидим дальше. А там бабка одна гнала в бане самогон, искра вылетела – баня и загорелась. Все туда, а бабка не пускает. Поленом стук-стук, условно говоря, – и готово. Жаль, столько самогону пропало.

Начали мы там жить. Целый день по лесу гуляем... входишь в любой дом, Наташка печку открывает, спичкой чирк: сметана, печеная картошка, – из дома в дом ходим и жрем; все время животом мучаешься, нажрешься и лежишь – встать нет сил. Книжки читаем.

Наступает у нас Троица. Дед Илья бочку самогона гонит. В комнате дышать нельзя, хоть сразу закусывай. Пошли на кладбище, бабы все пьяные, ревут. Наташка мне говорит: не пей, чтоб авторитет не потерять, – а дед Илья отзывает в сторону: помянем, Геруля, усопших. Дал самогону – так я на могиле и растянулся, дед Илья, рыжий, конопатый, рядом лежит. Увезли нас домой на телеге. Привозят. Где Наташка? Нет. На кладбище с Митькой-трактористом осталась. Мать твою етти налево, сажусь на велосипед, еду. Час еду, два, вдруг: стадо коров – прямо в стадо. Где, говорю, Пустошка? Геруля, а вон твой дом – показывает пастух. Тут выскочил бык, тот самый, что мужиков бодал. Бросил я велосипед – и по огородам. Наташка, мерзавка, никогда не прощу...

А пьют скобари, скажу вам, напропалую. Выставят самогон, сядут и начнут вспоминать, у кого когда корова четыре года назад в огороде нагадила, и для убедительности еще друг другу морду побьют. Председатель колхоза, недолго думая, учредил товарищеский суд. Гонишь самогон, а мы тебя поймали, ах, ты, такой-сякой – три рубля штрафа и общественное порицание, самогон конфискуем – пьет весь колхоз; сегодня – ты, а завтра у меня баня сгорела, запылхала – не помогает. Тогда председатель издал постановление: напился я – бери с меня 25 рублей штрафа, с бригадира 10, с колхозника 5. Едем мы с Наташкой по полю, смотрим: из под стога сапоги деда Ильи выглядывают. Наташка, говорю, 10 рублей лежит, а дальше: мотоцикл председателя – 25 рублей. Приезжаем к

председательской жене: идем! в поле 35 рублей валяются. Взяла она их, а баба здоровая, одного и другого подмышку, притащила, головой об пол – бряк. Утром дед Илья просыпается: ах! ты стерва, председательша, ворчит. Председатель шишку щупает. Я и намекаю ему: как насчет штрафа? Тот руками разводит, что-то говорит с псковским акцентом, Наташка переводит, но самой не фига не разобрать. Смысл в том, что с деньгами, мол, худо, возьмите натурой. Выдал бутылку самогону. Пошли. Наташка идет впереди, титьками машет, седьмым номером, я сзади с самогоном выступаю. От радости песню запела. Молчи, говорю, еще не пила, а уже орешь на всю деревню. Зашпинял ее ногой в дом. Хорошо на Псковщине, поедем – не пожалеете...

Съезд закончился. Больше других им остался доволен Аркашка. Хорошие гости, говорил он, разбили всего два стакана и поломали один стул. Он не возражал, чтоб на будущий год опять собрались у него.

30. По знакомым местам

Был у меня приятель. Когда ему предлагали выпить, он брал бутылку, поворачивал этикеткой к себе и говорил: это вино я пил, спасибо. Я не могу похвастать подобной тягой к разнообразию. Я привык к каждодневным заботам. День сменяется ночью, ночь – днем, солнечное затмение в районе Перми – солнечным затмением в окрестностях Сан-Франциско. Сегодня мало чем отличается от вчера. А завтра?

И вот мы опять идем по Малой Охте, по историческим местам, где семь веков назад Александр Невский, по утверждению Германа, разбил шведов.

Сворачиваем в «Розлив». За квартал от магазина группами стоят алкаши, морды – ночью под мостом встретишь – не обрадуешься, того и гляди: подойдет такой и попросит рубль. В воздухе витает запах спиртного. Магазин устроен просто: вдоль стен – автоматы, опускаешь 20 копеек – загорается лампочка «портвейн лучший, 80 грамм», в углу – фанерная перегородка, за которой дежурят два вышибалы, на случай если кто-то перепьет. Геруля встал в очередь разменять рубль. Я не пил. Он принял два стакана, подбросил на ладони последний двугривенный, затем опустил и его:

– Здесь пьют на рубль. Норма. Пойдем, пока нам выкидку не устроили.

Вышибалы промышляют скупкой вещей у пьяных: часов, пиджаков, фуражек, галстуков, – кое-кто перетащил к ним весь свой гардероб.

И опять мы дворами пробираемся на проспект Шаумяна. Геруля показывает, где кто живет. Здесь Зуб, здесь Гудок, здесь Калабаха, здесь Ванька Шпрот. Шпрота упрятали на два года.

– За что?

– Да так, по-дурости. Один лапоть приехал с Петроградской стороны три рубля занять, а Шпрот ему кирпичем заехал. Дурак. И вообще, в тюрьме 50 процентов сидит по-дурости. Кто ящик водки сопрет, кто набьет морду соседу. Тоже мне, делать нечего. Настоящие жулики – те гуляют, их сажают тогда, когда начинают воровать сверх нормы. Ему, например, положено украсть пять тысяч, а он спер миллион...

Пришли. Геруля опять забыл ключи. На этот раз я спустился вниз и наблюдал, как он перелезает с димкиного балкона. Честно сказать, я боялся, ведь он только принял 400 грамм лучшего портвейна, тем более, что недавно один жених из соседнего дома хотел последовать герулиному примеру, взял даже для страховки веревку, но сорвался и попал в больницу Мечникова. Но Геруля был на высоте. В мгновение ока он повис на руках, нашел ногами перила балкона, сместил центр тяжести и был дома.

Вечером мы сидели у телевизора, пили чай. По телевизору передавали репортаж из космоса: стыковка кораблей, переход космонавтов из корабля в корабль по открытому пространству.

Меня это, сказал я, восхищает не больше, чем то, как Геруля перелезает с пятого этажа на четвертый, ведь там в космосе невесомость и космонавты подстрахованы, а здесь матушка-земля хоть и близко, но так к себе и притягивает. Герман отхлебнул чаю и сощурил для хитрости глаза:

– Да, героев любят у нас прославлять, а на самом деле, кто не герой? Вот упадет на тебя двадцать китайцев, что ты будешь делать? Конечно, отбиваться.

31. Разговор с Германом на последней странице

И еще раз Герман Петрович отхлебнул чаю:

– Ну, каков фронт работ на февраль месяц, – спросил он, – какой кувалдометр выдашь?

– Последний, – ответил я.

Точнее: Герман спросил, как дела с книгой, я ответил, что написал 30 глав и на этом кончаю.

– Почему 30, дул бы уж до горы, пока не посинеешь, не то написал бы 33.

– А почему 33?

– Портвейн 33 номер.

– Но, предположим, портвейн и 777 бывает, так что нам он не ориентир, да и 30 портвейн есть.

– 30 – плохой, красный, живот от него болит.

– Тогда прибавим еще один номер.

– Годится.

Из написанного Герман читал только первую главу и остался ею крайне недоволен:

– Катетор-то мне три часа вставляли, а ты что? – написал полстраницы и отделался, вставили б тебе, знал бы как писать...

Поэтому я медлил показывать остальные главы.

– Что ж ты, дружок, прима-балерун из Цюрупы, – скажет Герман Петрович, – выходит, по-твоему, я негодяй и пьяница законченный, да я с пьянством, как с классовым врагом, решил бороться, с завтрашнего дня не заикнусь...

– Герман...

– Тридцать лет Герман, не подлизывайся – в опале. Зачем, скажи, не за свое дело взялся, писатель фигов, у Абригона бы, на худой конец, поучился, говорил ведь – не слушаешь. Абригон как работает? За машинку сядет. Брюм – трешка,

брюм – песня о Пискаревском кладбище, 45 минут – 150 рублей. Пальто. А что ты. Год пишешь, бумагу на нецензурщину изводишь...

– Как умею.

– Ага, затыкай – нанюхались. Хочешь сказать, что в сумдome и с валенком живут, знаем. Давай, перепечатавай – посмотрим, какую над тобой учинить расправу. Для начала пургену в чай подсыпем, а там...

– Что там?

– Разделаем, как бог черепаху. Карлуша, иди-ка сюда, пусть посмотрит, что его ждет.

Но Герман был настроен дружелюбно.

– Значит, говоришь, кончил, да? А про князя написал?

– Нет, не успел.

– И напрасно. Князь – он Галицкий, рюрикович. А как с Димкой усатым клопов травили?

– Нет.

– О. А как я скобарям камень на речку приволок?

– Нет.

– А как мы с Арнольдом и Симашкой на плоту перевернулись и домой добирались в исподнем?

– А как спектакль у нас в школе ставили и мне поручили самую ответственную роль – шпиона?

– А как мы Кольку-чифириста в колхозе напугали?

– А как Джон алименты за троих чужих детей платил?

– А как Питятя прыщавую бабу заклеил по пьянке, утром проснулся, глянул и убежал?

– Не вошло, Герман, нужно другую книгу.

– Вот и напиши.

– Напишу.

– Врешь.

– Ей-богу напишу.

Прощались.

– Провожать не буду, сам дорогу знаешь.

– Знаю. Пока.

– Бывай. Заходи, хоть похихикаем.

– Зайду.

– Ну, всего.

– Пока.

РАССКАЗЫ

Лестница

Вестибюль. Широкая парадная лестница. Хлопает входная дверь. По лестнице поднимаются люди. Сколько поднимается, столько и спускается. Вверх – вниз. Вверх – не спеша, вниз – через ступеньку. У входа читают объявления: “17-го с 2-х до 4-х онкологический осмотр женщин”, “кто потерял кошелек – обращаться в отдел кадров”.

Жду в стороне, жду минут двадцать, полчаса. Но вот и он. Я придерживаю дверь, помогаю втащить на лестницу стремянку. Длинная, метров пять. “С этой достанем, держи!” – он заходит вперед, и мы тащим лестницу наверх. Что ж, попросил – пожалуйста. Тащим.

Широкая парадная лестница. Поворот. Осторожно. Еще поворот. Потом коридор, дверь в зал, антресоли. Стоп. “Подожди отдохнем”. Потом винтовая лестница. По винтовой лестнице втаскиваем стоймя. Потом узкий проход. Поворот. И, наконец, в тупике перед чердачной дверью устанавливаем стремянку. Я придерживаю, он лезет вверх и вворачивает лампочку: включай!

Пространство раздвигается. В дверных щелях гастролирует ветер: Скрябин “Поэма экстаза”. Лампочки здесь никогда, видно, не было. Прежний монтер был выпивохой, за что и уволили.

– Ну как, ставишь? – говорю я.

– Ставлю.

В буфете перед самым носом забрали последнюю бутылку пива. Что ж, пойдем за упол.

На углу ценители, любители, специалисты и завсегдатаи были в полном составе.

Пиво – жидкий хлеб. Житница – завод “Красная Бавария”. Пару больших с подогревом – и порядок. В ногах – крепость, идешь плотный, ветром не сдует. Жигули, конечно, – не фонтан, вот двойное золотое оригинальное... “А портер вы пили?”. “Портер – это особ статья”. Нет, хорошего пива у нас не варют, солода нет, солод покупаем в Чехословакии.

С профессионалами познаешь профессиональные тайны.

Забулдыга с ветчинорубленной мордой отзывает нас в сторону: братцы, прикройте. Из склянки, взболтнув, выливает в кружку лаку-шеллаку, хинину-стрихнину... ткнул – ни в одном глазу. Спасибо, братцы.

Взяли по большой и по маленькой. И тут он вспомнил, что лестницу-то мы не убрали. “Бежим!” – пропустил второпях пиво и рванул обратно. “Счас, подожди”, – я медлю, какое удовольствие пить на ходу? Кружка пива заменяет 100 грамм водки или два бокала шампанского. Это водкой чокнулся, за ваше здоровье, и пошел, пиво – особ статья.

Пока я пил, он скрылся из виду, но я догнал его на винтовой лестнице. Прибегаем. Темно. Лампочка перегорела. В щелях – ветер. Финал “Поэмы экстаза”. Он лезет вверх, я придерживаю, но посреди лестницы переключатель вдруг треснула и он падает, проехав лицом по переключателям, как по клавишам. Последний аккорд. Удар лестницы о чердачную дверь. Дверь распахивается.

В медпункт я тащил его по винтовой лестнице, потом черным ходом через задний двор, мимо склада и мусорной свалки. Борис Борисыч, наш врач, только и сказал: “Ей-ей”. Пиво, хоть и жидкий хлеб, но несет от него хуже, чем от водки. “Нехорошо в рабочее время, нехорошо”. “Ну, Борис Борисыч, понимаете...”. Борис Борисыч обмыл спиртом лицо и прилепил на лоб пластырь. “Понимаю”. Борис Борисыч – человек добрый, контуженный, а контуженные всегда люди добрые. Вот и хорошо. Может, на уголок, Борис Борисыч?

– И я с вами.

– Куда тебе с фингалом.

– Ничего, сойдет.

Он надвинул на лоб фуражку, и мы втроем пошли на угол.

1969

Соседки

Соседки Сима Яковлевна и Анна Дмитриевна встречаются только в коридоре и на кухне.

– Надоело жить – начинаю умирать, – говорит А.Д., – вот выглянет солнышко, посижу под его лучами и буду постепенно умирать.

– Зачем же так, А.Д., нельзя опускать крылья, – говорит С.Я.

А.Д. и С.Я. – одинокие старушки.

А.Д. скептически настроена на будущее. Вся коммунальная квартира знает, что у А.Д. на книжке 2500 рублей новыми деньгами, но она скупидомничает, поджаривает крошки, капустку, ходит залатанная и заштопанная. Как-то выпшла она посидеть на воздухе у парадной, на табуреточке, проходил мимо пьяный, растрогался и положил ей в подол кусок батона и начатую банку килек: на, бабуся, я все понимаю. “А мне неудобно, – говорит А.Д., – хлеб не выкинешь – грех хлеб бросать”. Пьяный через полчаса вернулся: дай, бабуся, отщипну кусочек – закусь, у меня поперек горла встало. А.Д. хотела что-то сказать, но он перебил: не надо, бабуся, я все понимаю, не раз сам был в таком положении.

С.Я., напротив, настроена оптимистически. Ей 78 лет, она постоянно красится, накручивает бигуди и стучит в коридоре высокими каблуками. “Будь я на 10 лет моложе – мимо меня не прошел бы ни один мужчина”. Обо всех мужчинах она замечает: “Он мне нравится, ах, будь я на 10 лет моложе”. С.Я. – баронесса. В портмоне хранит бриллианты, с которыми ходит даже в туалет (халат распахнут, и если в коридоре сталкивается с мужчиной, соседом Борей, смущенно прикрывается полой и вскрикивает: “Ах, боже мой, здрасте!”).

К С.Я. ходит в гости Додик, бывший князь, виолончелист, солист императорского оперного театра. Перед визитом он звонит С.Я. по телефону: дорогая С.Я., разрешите придти к вам в гости. “Ах, милый Давид Наумович,

пожалуйста!”. С.Я. бежит на кухню ставить кофейник, напевая арию Каварадосси, накручивает бигуди.

С.Я. и А.Д. глуховаты. А.Д., скорее ощутив, нежели услышав оживление, высовывается в коридор.

– О, С.Я., вы сегодня в полной форме.

– Да, А.Д., иду в магазин.

– С.Я., я говорю – вы сегодня в форме.

– Да, А.Д., Додик пришел, будь я на 10 лет моложе, милый Додик.

1967

Из дневника

23.09.67.

Я

не езжу без билета в общественном транспорте,
не беру денег займы и займы не даю,
не покупаю вино вскладчину,
не флиртую с женщинами моих друзей и знакомых,
не говорю комплиментов дуракам,
не улещаю злодеев, ...

24.09.67.

не читаю чужих писем,
не подглядываю любовных сцен,
не вытираю рот рукавом,
не облизываю языком губы,
не люблю сплетен,
не запоминаю анекдотов,
не вмешиваюсь в чужие дела,
избегаю скандалов, ...

1.10.67.

Такой я хороший, что даже самому противно.

Выбранные места из жизни А.М. Абрамовича

Абрам Абрамович жил напротив тюрьмы, теперь он живет напротив своего дома.

Первый раз его переселили в тридцать седьмом году. Читал Абрам “Фауста” Гете на немецком языке. Прочитал первую часть, приступил ко второй, более трудной, перегруженной символикой и мистикой, – пришли двое и увели Абрама.

Через десять лет ему вернули паспорт и гражданские права, но дернуло Абрама дочитать вторую часть “Фауста”, более сложную, чем первую, только открыл книгу – пришли двое и увели Абрама.

Посадили Абрама Абрамовича в одну камеру с Зямой Каценельсоном. Почему-то на двадцать лет. Абрам все сидит в углу, а Зяма ходит взад-вперед, от дверей до окна. Абрам и говорит: “Зяма, ты думаешь, если ты ходишь, так ты не сидишь? А?”. “Зачем так зло шутить, Абрам?” – говорит Зяма и присаживается в угол. Зяма, как и Абрам, переводчик. Первую книгу он напечатал в тридцать седьмом году.

Раз в месяц Абраму разрешают отправить жене письмо, и Абрам пишет: “Дорогая Циля Цацклевна, наконец, я нашел место и время, чтоб сказать, как горячо Вас люблю. Занятый литературой, я был очень невнимателен к Вам, в чем раскаиваюсь с большим опозданием... Как поживает наш милый Додик? Выводите его почаще гулять. Дорогая Циля Цацклевна, отнесите в букинистический магазин “Фауста” Гете и купите мне носовой платок, у меня здесь постоянный насморк ...”

Жена пишет в ответном письме:

“Дорогой Абрам Моисеевич, где взять сил, чтобы пережить нашу разлуку! Неужели так жестока судьба, дорогой Абрам Моисеевич! Дома все по-старому. Додик такой же веселый. Купаю его каждый день. Да, большая радость! Позавчера на выставке он получил золотую медаль. Скоро день передачи, и я обязательно приготовлю Вам чего-нибудь такого ...”

– Ну, садись, – говорит Абрам Зяме. Они достают порванные и засаленные карты, утаенные от надзирателя, и расписывают преферанс. Играют на деньги в долг. Хотя никто не собирается отдавать проигрыш, но приятно сознавать, что выиграл у партнера крупную сумму.

Так можно было бы описать некоторые моменты из жизни Абрама Моисеевича Абрамовича до пятидесят шестого года. В пятьдесят шестом году его реабилитировали, теперь он живет напротив тюрьмы, восстановлен в членах Союза писателей, но дочитывать вторую часть “Фауста” Гете не решается.

1967

Визит

На двери в квартиру Палыча было семь звонков и один общий. Дверь никогда не запиралась, но я позвонил, чтоб предупредить о своем приходе, и вошел.

В коридоре стоял воздух, побывавший в туалете, с нюансом горохового супа и селедки в горчичном соусе, в конце коридора к нему подмешивался голос итальянского тенора. Палыч сидел посреди комнаты на полу и крутил пальцем диск поломанного патефона.

– О, – просиял он и протянул левую руку по причине занятости правой. – Покрути, пожалуйста, я взбодрю чайку.

– Что нового? – спросил я.

– Да вот написал холст.

-- Покажи.

Палыч задумался и, ничего не сказав, выбежал из комнаты.

Я прокрутил пластинку четыре раза с двух сторон, на пятом заходе появился Палыч, напевая и подпрыгивая.

– Ты куда пропал?

Он наклонился к моему уху и шепотом, чтоб не услышал итальянский тенор, сказал:

– В туалете был: понимаешь, сосед, как залезет, по три часа сидит, вот мы и слушаем – только он воду спустит – сразу туда!

– Холст покажи.

– Ах, да, – спохватился Палыч, обозрел комнату и снова выбежал в коридор.

Песик, который дремал возле шкафа, вскочил и побежал за ним. Я прокрутил пластинку еще пару раз с обеих сторон. Дверь приоткрылась, песик сел рядом со мной и стал подвывать итальянскому тенору. Из коридора было слышно, что Палыч разговаривает с женщиной:

– Спасибо, Юдифь Донатовна, спасибо.

Палыч втащил в комнату лестницу-стремянку.

– Редкая женщина Юдифь Донатовна, подумать только, раньше мы были в ссоре, выйдет она в коридор и кричит: что у вас за собака, пакостит по всей квартире, вот моя кошка писает исключительно в туалете. Я уже не знал, что делать, но как-то в субботу купил мерзавчик. Предложил. Я ничего против вас не имею, сказала Юдифь Донатовна, только пусть собачка под дверьми не писает, а то протекает, – и с тех пор у нас все пошло гладко: как суббота – я в магазин, а Юдифь Донатовна порой среди недели спрашивает: Палыч, а какой сегодня день?

Палыч приставил лестницу к шкафу и полез, продолжая:

– Теперь все: она в моих руках. Сажусь я однажды в трамвай. Читаю: “Молния! Юдифь Донатовна Гринберг, проживающая там-то и там-то, не уплатила за проезд”. Прихожу домой, говорю: нехорошо это, Юдифь Донатовна. Она: тише, тише, – побежала за мерзавчиком, теперь мы по очереди в магазин бегаем – субботу я, субботу она.

Едва Палыч начал взбираться наверх, песик прекратил пение и полез за ним. Рядом они были оба кудрявые и похожие.

– Ищи, – сказал Палыч.

Они перевернули кучу холстов, перевернули рулоны бумаги.

Тут в дверь постучали, и вошла старуха:

– Палыч, красочки не найдется, холодильник подкрасить: племянничек мой сгущенку ворует – все дверцы оббил, за один присест банку, окаянный, выжирает, не напасешься.

– Возьми под кроватью.

Старуха отлила чуток краски в рюмку и удалилась. Через минуту она постучала снова. Палыч слез с лестницы и смотрел недовольным глазом, на двери у него висела табличка “УХОДЯ – УХОДИ!”, и он сердился, когда соседи были к ней невнимательны.

Старуха принесла соленых огурчиков на блюдечке:

– Кушайте на здоровье. Надо – еще принесу.

– Спасибо.

Палыч задумался:

– Придется в магазин бежать. Что делать – Юдифь Донатовну послать – так она половину выпьет, мне нельзя – холст не нашел, тебе тоже: кто пластинку будет крутить, попрошу покрутить соседа, он музыку не любит, но все равно глухой.

Когда я вернулся из магазина, старик крутил пластинку, песик пел, а Палыча не было.

– Где Палыч? – спросил я.

Старик не расслышал, а песик встал и побежал к шкафу.

– Нету, едрена перец! – ругался Палыч в шкафу.

– Выходи – я принес.

Палыч поблагодарил старика за услугу, я сел за патефон.

Старик же при виде бутылки ожил и принялся хвалить нас за то, что мы хотим выпивать дома по-культурному, а то некоторые пьют в парадных и тамбурах, а потом хулиганят, вот они, когда на Шкапина ломовым извозом занимались, а Шкапина – улица хуже нет, и то себя соблюдали – выпьешь и тихо по стеночке домой, потому как работа на людях, а ежели драка, под глаз не били, потому как – клиент, с подвесом нельзя, а сейчас выйдешь из бани на Шкапина – стоит на углу пьяный, выворачивается, вот когда они на Шкапина работали ...

– Спасибо, спасибо, – Палыч выпроводил старика.

– Ну что? Выпьем, – предложил я.

– Подожди, еще под кроватью посмотрю.

На кровати образовался бугор, который перемещался из стороны в сторону.

Вдруг Палыч вылез:

– Как ты относишься к искусству кватроченто? – спросил он.

– Никак.

– Пять минут с тобой не разговариваю, – сказал он и залез обратно.

Через минуту его борода высунулась снова:

– Крути быстрее, а то у тебя вместо тенора бас получается.

Песик принял это на свой счет и пронзительно завыл.

В дверь постучали. Вошла старуха.

– Палыч, проверь сочинение моего племянничка, не откажи, не то двойку поставят, отец его придет.

– Дай ему, – Палыч показал на меня.

Я открыл тетрадь:

“Двадцать первое октября.

Сочинение.

Когда я поехал первый раз в цирк, была зима. Я с мамой вошел в цирк и прошел в зал. Когда я сел, то свет погас. Я увидел собак, которые плясали. Потом я увидел клоуна, он ехал на печке, когда это кончилось, я пошел в буфет. Потом я опять сел на место, стал сидеть и ждать. Потом свет погас и я стал смотреть, я увидел человека, который показывал фокусы. Потом вышли акробаты, они кувыркались и прыгали. Потом я увидел льва, который прыгал в кольцо, а после вышла пантера. Представление кончилось и мы ушли домой”.

– Хорошо написано, – сказал я, – ошибок нет.
– Дай вам бог здоровья, может огурчиков принести?
– Спасибо, не беспокойтесь.
– Морока с этим племянником, – поведал Палыч, когда старуха удалилась, – вчера анализ мочи поставил на кухне, бабка его за постное масло приняла – и на сковородку... А холста нигде нет.

Палыч сел подле меня и с расстройства запел, составив с тенором и песиком трио.

Пели они на непонятном итальянском языке, но можно было догадаться, о чем речь: он безумно любит ее, но он беден, ее родители не позволяют им воссоединиться и он поет при луне у моря: *аморе!*..

Потом Палыч достал из стола ржавую вилку и вдумчиво съел огурец. Видя, что я кошусь на вилку, сказал:

– Не обращай внимания, хорошему желудку все сойдет, у нас в первой комнате, как войдешь, жил один чудака, в сумдом попал, на чистоте сдвинулся, все ему грязным казалось, в сумдоме, говорят, вилку вытирает одной салфеткой, нож другой, для ложки третью требует, теперь вроде бы пошел на поправку – одной салфеткой обходится... Ну ладно, – кончил Палыч, – пойду взбодрю чайку и сразу приступим.

Он взял чайник и захохотал. Я оставил патефон и захохотал тоже. Холст лежал под чайником. Мы оба хохотали геометрическим хохотом. В прошлый раз, помнится, он не мог найти чайник, т.к. чайник был прикрыт холстом. Палыч упал на пол и дрыгал ногами, я держался за стол, песик прыгал через патефон, но дверь скрипнула, и мы вмиг осеклись.

В комнату вошла Юдифь Донатовна.

– Извините, я, может, некстати.

– Нет, ничего, пожалуйста.

– Вы не подумайте...– сказала Юдифь Донатовна и приставила к нашей бутылке мерзавчик.

Палыч побежал на кухню, я побежал в туалет, а то вдруг меня на три часа не хватит, впереди предстоял долгий разговор об искусстве.

1969

Ссора

– Постойте, Федор Иванович, слышите?
– Что?
– Ничего, будет вам притворяться.
– Не слышу.
– Не может быть.
– Серьезно.
– Федор Иванович, еще минуточку, ради бога.
– Да, да, но все равно.
– Странно.

- Что?
 - Так ничего.
 - Вы думаете?
 - Нет, но ведь вам все равно.
 - Зачем же вы так?
 - Вы сами говорите.
 - Извиняюсь, я этого не сказал.
 - А кто?
 - Не знаю.
 - Не знаете, а говорите.
 - Вы спрашиваете, вот я и говорю.
 - О чем я вас спрашиваю?
 - Не знаю.
 - И этого не знаете, что же вы знаете?
 - Ничего не знаю, а что вам, собственно, от меня нужно?
 - Ничего.
 - Тогда оставьте меня в покое.
 - Ради бога, только не нервничайте.
 - Знаете, молодой человек, это уж слишком.
 - Федор Иванович...
 - Федор Иванович, Федор Иванович,.. не хочу вас слышать. Все.
 - Странно.
 - Вот так, до свидания.
 - До свидания, извините.
 - Давайте, давайте, нечего извиняться.
 - Ладно, я уйду.
 - Давно пора.
 - Что?
 - Ничего.
 - Ничего, тогда хорошо.
 - Хорошо?
 - Да.
 - Ну, ну.
- Два человека поссорились, так и непонятно почему.

1968

Увы...

Троллейбус после 12-и ночи – проблема. На остановке стояла группа людей, остро желающих стать пассажирами. Парень с девицей подпрыгивали на одной ножке, две дамы, нахохлившись, молчали, а гражданин в шляпе так оглушительно зевал, что ему ничего бы не стоило проглотить троллейбус вместе с водителем. Но троллейбус где-то застрял. Парень с девицей поймали такси и уехали. Все это видели, но не могли отделаться от мысли, что их заглотил гражданин в шляпе. Двум дамам надоело ждать, и дамы молча направились в сторону ближе к дому, пешком и потихоньку. Впрочем, этого никто не видел. Гражданин в шляпе остался один, с разинутым ртом.

А троллейбус так и не пришел. У водителя поломались часы, и он раньше времени свернул в парк. Везет все-таки некоторым людям.

1967

Разговор в предбаннике

Два старика разговорились в предбаннике по причине, что номера их оказались рядом. Один уже помылся и сидел голый, накинув махровое полотенце, второй – раздевался и, как начали разговор, все время сидел в рубахе и кальсонах.

- Откуда такой?
- С пяти углов.
- Что так?
- Да ничего хорошего у нас нет.
- А щербаковские бани?
- И щербаковские и звенигородские.
- А ямские?
- Ямские на ремонте.

Голый старик был значительно старше своего собеседника, чем и вызвал к себе интерес, второй, похоже, хотел спросить, сколько ему лет, но не знал, как это сделать, чтоб без конфуза, поэтому разговор шел о банях.

– Жаль, не оставили мест, где можно полежать... хотя бы парочку для стариков. Вышел бы из парилки – передохнул.

– Что вы, кому это нужно! Я вон прилег в мьельной, так банщик, хрен тертый, меня за ногу стянул.

– Да, раньше помню, тебя помоят, спину потрут... массажист, если надо, мозолист. А сейчас попробуйте попасть в мозольный кабинет – очередь на полтора часа.

– А где, скажите, сейчас без очереди? На кладбище и то очередь, один гражданин умер, пока его похоронили совсем-те испортился.

У старика, который постарше, были большие стабильные усы, что делало его похожим на швейцара или гардеробщика, но его манера говорить не позволяла сделать такой вывод. И действительно, как выяснилось из разговора, до пенсии старик работал бухгалтером. А говорил он удивительно правильно, без каких-либо погрешностей, обращаясь со словами, как с числами, сделать, например, для него ошибку в слове из 8 букв – все равно, что в восьмизначном числе поставить не ту цифру.

У второго, напротив, проступала закрепленная возрастом привычка говорить как выйдет, он не заботился о правильности речи и был горазд ввернуть крутой оборот. Кем он работал, так и не сказал, видно, за свой век сменил много мест.

– Очереди везде, очереди. В магазинах – не протолкнешься, на остановках тоже, а такси попробуйте поймать... Эх! раньше крикнешь: извозчик! Он – “Куда угодно, барин?” – На Лиговку – “Полтинничек будет”. – Хватил, брат, хватил – “Овес дорого стоит, барин”. Зато прокатит с ветерком.

– В магазинах, говорите? Я вот в кафе зашел: сидят за столом человек по 5 – 6, а

два стола не заняты, сел – пришел официант и обругал меня: слепой что ли, стол не обслуживается, табличка для чего! Обращение, вам скажу... А помните – греческая кухмистерская на 1-ой Рождественской. Официантки были – сейчас у министра такой жены нету, а готовили как? Или взять Федорова...

Подошел банщик, держа кошелек, оставленный первым стариком на хранение. Тот взял, проверил деньги, лотерейные билеты и протянул банщику монету на чай. Банщик махнул рукой, отказался.

– Видать, общественник, – заметил второй старик. – Ну это все хорошо, а все-таки, сколько вам лет, царя-батюшку, небось, застали, а?

– Отгадайте.

– Наверно, за седьмой.

– Нет, уже за восьмой.

– Ого, а сейчас что, вот он (старик показал на меня) до сорока проживет – так ладно.

– Проживет, и в лотерею сегодня выиграет, и в трехпроцентный. А вы купили билет?

– Нет, какой толк, одна трата денег.

– Ничего не поделаешь, с деньгами худо. Я вот подметки на ботинки поставил – взяли 2 рубля 60 копеек. Когда это было, чтобы за подметки 2 рубля 60 копеек брали. Прежде 3 – 4 рубля самые лучшие башмаки стоили. Американские по подписке – и то 10 рублей.

– А шьют? Я себе ботинки в мастерской заказал. Деньги, конечно, вперед. Дамочка обвела ногу карандашом, сделали – нога не влезает. После два месяца ходил, пока деньги вернули. А костюмы? Как на чучело гороховое. Что это такое, говорю. А закройщик мне говорит: вы сами виноваты, у вас фигура нестандартная. Вот так, – и второй старик, раздосадованный, стал раздеваться. Сколько собеседнику лет, он уже узнал, вести разговор дальше – одно расстройство, лучше не говорить, но едва он снял кальсоны и пошарил между ног, как обнаружил, что добрая часть его свойства отсутствует. Дед екнул, взвизгнул, магюгнулся, жизнь-те не в жизнь, пади она прахом, в магазине обсчитают, в поликлинике оберут, поспешно натянул кальсоны, штаны, сунул веник подмышку и дал ходу из предбанника.

1967

Пункт

– Дед, куда прешь без очереди!

– Эй, граждане, впереди, подвигайтесь, подвигайтесь – не пускайте его.

– У меня немного.

– Какой немного – целый мешок.

– Ну и что, как немного, у меня вон 7 бутылок, а стою.

– А у меня пяток и три малька.

– Пошел прочь, старый бздун.

– Совесть совсем потерял, так и смотрит нахалом влезть.

– Я постою только и уйду.

– Нечего стоять, иди в очередь стой.

- Дед, а дед, на маленькую что ли не хватает?
- Не хватает – пускай у бабки займет.
- Пустите деда – у него протез!
- Ну и что? Пить не будет, а то напьется и упадет.
- Дед, давай, давай отсюда.
- Исчезни, что тебе говорят.
- А ты куда? Деда пихает, а сам встрял.
- Я на автобус опаздываю.
- И мы на автобус.
- Да на работу мне, говорю.
- И нам на работу.
- Ехать-то мне целых полтора часа.
- И нам полтора часа, да тут еще два стоим.
- Граждане, граждане, подвигайтесь.
- Один влезет, другой влезет, куда это годится, где мы с тобой уже были бы?
- Сидели бы, где надо, и пили “Волжское”, сто грамм – 17 копеек.
- Вам, мужикам, только по пивным и шляться.
- А ты чего, дура, цепляешься, когда не спрашивают.
- А ничего.
- Ничего – так закрой поддувало.
- Эй, впереди, опять застряли, нельзя ли поживее!
- Синяя кофта, шевелись!
- Кончай, бабы, базар, чего не поделили?
- А пусть она не обсчитывает, у меня было 18 бутылок по ...
- Не 18, а 17.
- Как тебе, воровка, не стыдно! У меня было 18 бутылок по 12 копеек – это руб. 80 да 24 – 2 рубля 4 копейки, да 4 по 17 – 68, два четыре да 68 – два 72, а она мне два 50 дает, да еще 3 копейки просит...
- Хватит торговаться, подумаешь – 3 копейки.
- Кончай базар, открывай торговлю!
- Не суйся, сами разберемся, у меня было 18 бутылок по 12 копеек...
- Да на тебе, подавись, жидовская морда.
- Сама ты жидовка, от жидовки и слышу.
- Бабы, цыц!
- Синяя кофта, иди дам 3 копейки.
- Дед, а ты еще не ушел?
- Гоните их всех.
- Тише, граждане, закрываю на обед.
- Не позволим – предупреждать надо.
- Дамочка, у меня хоть возьми.
- Дед, пошел вон.
- Прими у меня, на работу опаздываю.
- Никаких “прими”, вас тут много, скоро из Москвы будете ездить бутылки сдавать. Все. Закрываю.
- Вот стерва, теперь я уже точно опоздаю.

– Закрыла-таки?
– Закрыла.
– Вы будете стоять? Держитесь за этим гражданином, а мы пойдем по стаканчику “Волжского” пропустим. Беда с этими бутылками.

1968

Туда и обратно

Выйдя из дома в половине девятого, он ходил на службу по набережной. Изо дня в день проделывая путь туда и обратно, он уже точно знал, сколько времени занимает каждый отрезок пути, и чуть ли не представлял, сколько шагов делает за эти четверть часа, когда поравняется с аптекой, мастерской по ремонту верхней одежды, когда с Домом обороны ДОСААФ. По дороге нужно было миновать два моста, и вся разница обычно состояла в том, по какому мосту перейти на противоположную сторону.

Сегодня, встав раньше обычного, позавтракав, он решил пойти на работу окружным путем.

Город еще не пришел в себя, и первым, кого он заметил, был старик, сидящий в сквере на скамейке. “Наверное, страдает бессонницей”, – подумал он. А старик не обратил на него внимания. Так и сидел, уставившись в одну точку.

На перекрестке еще издали он увидел девушку. Одета в белое, она выглядела неестественно легкой. У него возникло желание заговорить с ней, сказать: доброе утро, мол, и вы встали так рано... не правда ли, сегодня чудесное утро! Однако, он оробел и замедлил шаг, чтобы пропустить ее и посмотреть вслед.

Он смотрел, пока она не скрылась за поворотом, и пошел дальше, к Инженерному замку. Обогнуть замок, выйти к каналу, а там неподалеку – бюро.

На канале у спуска к воде сидел рыболов со складным удилищем. Сбоку на бечевке, привязанной к причальному кольцу, болталась одна рыбешка. Он захотел подождать – пусть рыболов поймает при нем рыбу, но прошло с четверть часа, а рыболов только однажды вытащил удочку, поправил насадку и забросил обратно... Ничего не поделаешь – надо идти. Окурки папиросы, шипя, затих в воде, поплыл.

По мосту спешила женщина с коляской.

Ребенок кричал, скрипела коляска, но грохот трамвая, въехавшего на мост, отвлек его внимание от женщины.

Весь день он разбирал бумаги, до которых раньше не доходили руки, никуда не отвлекался, даже в буфет, ограничившись завтраком, принесенным в портфеле. Только два раза вышел в коридор. Работал допоздна и домой возвращался в сумерки. Было душно, растегнул пальто.

По мосту шла женщина с коляской. Сейчас можно убедиться – та это

женщина или нет. Но на мост, грохоча, въехал трамвай и прикрыл женщину, а когда он подошел к мосту, она уже была далеко.

На канале на том же месте сидел рыболов. Утром рыболов терпеливо ждал, пока клюнет рыба, а теперь то ли оттого, что было темно и он плохо видел поплавок, то ли не хватало терпения, рыболов непрерывно забрасывал удочку, вытаскивал и снова забрасывал. На бечевке болталась одна рыбешка. Он постоял, выкурил папиросу и пошел дальше.

Увидев на перекрестке за Инженерным замком девушку, он уже не удивился, его лишь смутило, что она по-иному, чем утром, отреагировала, увидев его. Поравнявшись с ним, она прибавила шагу и пробежала мимо. После, когда она исчезла из виду, он сообразил: ведь можно было подойти к ней, сказать – добрый вечер, вы помните, мы виделись с вами утром, разрешите я вас провожу... Он решил, если встретит девушку завтра, обязательно с ней заговорит.

Возможно, это решение позволило ему обратиться к старику, сидящему на скамейке в сквере. Он присел рядом и спросил:

– Скажите, почему вы сидите здесь?

– Я всегда здесь сижу, – твердо ответил старик, точно он сидел там, не уходя, всю жизнь.

Он посмотрел на часы и пошел домой. Было поздно.

1968

Черт побери

– Черт побери, черт побери, – слышу голос где-то впереди, но не придаю этому никакого значения. Я иду по узкому проходу и весь поглощен зрелищем: навстречу мне движется старуха и несет огромный астраханский арбуз. Мой взгляд настолько прикован к арбузу, что я не замечаю перед собой мужчину, который наклонился и придерживает штанишки ребенку, пускающему тонкую струйку. Я неминуемо толкаю мужчину, мужчина подталкивает ребенка, ребенок вздрагивает, и тонкая струйка, извиваясь, задевает старуху.

– Ой! – кричит старуха и роняет арбуз.

Арбуз – вдребезги, я наступаю на арбузную корку, падаю, сшибаю с ног мужчину, а старуха падает сама по себе с перепугу.

– Черт побери, – кричу я.

– Зассянцы, – кричит старуха.

– Чего толкаешься? – кричит мужчина.

– Арбуз, – кричит старуха.

– Безобразие, – кричит мужчина.

– Что такое? – кричу я.

– Смотреть надо, – кричит мужчина.

– Чего расставился? – кричу я.

– Полдня в очереди стояла, – кричит старуха.

– Мама, – кричит ребенок.

Мы все долго кричим, никто вставать не хочет, кто первый встанет – тот виноват.

Понятно, виноват я, я толкнул мужчину, но если разобраться, то ведь и он виноват. Зачем в узком проходе устроил общественный туалет? А старуха разве не могла положить арбуз в хозяйственную сумку, и меня бы не соблазнила (я в этом году арбуза не пробовал) и нести легче.

- Отдавайте, – кричит старуха.
- И не подумаю, – кричит мужчина.
- Чего захотела, – кричу я.
- Скандал, – кричит мужчина.
- Как вам не стыдно? – кричу я.
- Черт побери, – кричит старуха.
- Ладно, купим, – кричу я.
- Знаем мы вас, – кричит старуха.
- Так и быть, – кричит мужчина.
- Папа, – кричит ребенок.

Договорились: покупаем старухе арбуз. Собрали корки для вещественного доказательства, чтоб взять без очереди, идем.

– Черт побери, черт побери, – слышим где-то впереди. Смотрим: по земле ползает тетка, собирает крыжовник – просыпала целую корзину.

·1969

Юркина жена

Как угораздило Юрку на такую жену, я не знаю. Сравнить его с женой – все равно, что шпингалет с рамой или велосипед с пятитонкой. В бытность свою “Вестник императорского русского географического общества” любил помещать фотографии, на которых дюжина путешественников хорошей выправки стоит, обхватив дерево баобаб. Если поставить Юрку, потом меня, потом еще пару раз Юрку и меня возле его жены, то получилась бы ценная фотография для “Вестника русского географического общества”. Когда юркина жена загорает на берегу, широко раскинув руки и ноги, она являет собой стихию, подобную Черному морю, а Юрка рядом с ней выглядит щепкой, прибитой волной к берегу. И как море, она жадно поглощает солнечные лучи, потеет, испаряется, а Юрка, прижав руки к груди и подогнув ноги, – как щепка – один бок едва-едва обсох, а на другом пузырится вода.

Со мной юркина жена не разговаривает, для нее я просто шибзик, да и с Юркой она не особенно разговорчива. – Юрка, в воду! Юрка, из воды! – то и дело слышно по берегу вдоль залива от одного мыса до другого, где скрываются катера и садится солнце. Плавает она по-собачьи, нерасторопно, точно пьет квас из бочки, но зачастую ей лень грести и она ложится на воду (добро, жировая толща не позволяет ей утонуть), в таком случае Юрка выполняет роль буксира и транспортирует ее, будто плавучую базу, по морю. Иногда от жаркого солнца Юрка вдруг представляется, что перед ним не жена, а необитаемый

остров, чтоб удостовериться, он ныряет, но ему не хватает воздуха, вынырнув между ног, он переводит дыхание и снова исчезает под водой. Но один раз он не рассчитал и ударился головой о ее поясицу, словно лобан в днище дизельэлектрохода “Россия”. Тут жена приложила руку, после чего мы откачивали Юрку весь день. За это время бригада рабочих на прибрежной стройке успела откачать воду из котлована для фундамента семиэтажного дома.

Как другу, Юрка признался мне, что самые муки для него начинаются ночью. В художественной литературе он вычитал эпизод, в котором жена спихивала мужа с кровати на пол. (Юрка, к сожалению, забыл автора книги). Учтя чужой опыт, он попробовал лечь к стенке, но тотчас был припечатан к узбекскому ковру и чуть не слился с орнаментом. Так Юрка понял, что в книге написано правильно, и теперь ложится только с краю. Для страховки возле кровати он ставит раскладушку.

Но самое забавное зрелище – когда Юрка идет с женой по улице. Жена – тиранка, как турецкий паша, заставляет Юрку нести зонтик, а Юрке, хоть на цыпочки встань, сроду не дотянуться, и чтоб выйти из положения, он ставит на плечи свою пятилетнюю дочку и дает ей зонтик, представляете, каково ему бедняге, – дочка пошла явно в родительницу, в пять лет она почти с Юрку ростом, а что будет, когда она подрастет.

Мы лежим на берегу и Юрка рассказывает, как ловил лещей весом по 9 килограммов. Юрка, Юрка, думаю, не гонялся бы за крупным уловом, не отхватил бы такую жену. Затем мы тасуем карты. Он обыгрывает меня в подкидного дурака, переводного, японского, вист, ап энд даун, девятку и во все остальные игры. Верно, не зря говорится насчет того, кому в чем везет. Наконец, нас совсем распекает солнце, я предлагаю: Юрка, давай окунемся. – Тише, – говорит Юрка, и мы оползаем его жену, он с одной стороны, я с другой, при этом у меня создается впечатление, что я тайком пробираться по пустой улице мимо фабрики-кухни. Но не успели мы влезть в воду, как над берегом вдоль залива от одного мыса до другого, где скрываются катера и садится солнце, разнеслось грозное: – Юрка, вон из воды! Юркина жена стояла в полный рост, на нас надвигалась стихия, как на Черное море грозная туча, которую ветер пригнал из Турции.

1968

Злоключения

“Среднерусская пейзаж, твой художник бородатый...” – писал поэт Виктор Кривулин. Это про меня. Я обросший, не совсем бородатый на среднерусской вокзале в буфете. Чемодан при мне. До отправления поезда – 40 минут, не сдавать же чемодан в камеру хранения, а поставить в стороне по-над стенкой – так, чего доброго, сопрут. Очередь подвигается, подвигаю чемодан. Взял бифштекс натуральный, кусок хлеба, молоко в пакете, бисквит. Отнес на стойку и за чемоданом. Пока туда-сюда, какой-то дядя подшофе с приятелем не лучше дяди втиснулся на мое место и опрокинул стакан кофе в бифштекс. Смотрю: плавает мой бифштекс в тарелке, натурально разбухает. Конечно, дядя

извиняться и не думает, к этому он не приучен, ждет, что я начну ругаться, тогда уж он со мною сцепится. А я наколол вилкой бифштекс и ни слова. Дядю подобный оборот поставил в тупик, сконфуженный, он отошел в сторону, встал у стенки возле чемодана, так и простоял, пока я разделялся с бифштексом, бурча что-то под нос и злясь на себя, что не может извиниться, а его приятелю вовсе стало неловко, и приятель сбежал в туалет.

В поезде я нашел свой вагон, в вагоне свое шестнадцатое место, затолкал чемодан под полку, сел – сижу. Вдруг мне на радость заваливается в вагон дядя с приятелем. Оказывается, места у них 14 и 15. Естественно, мы сделали вид, будто впервые видим друг друга. Дядя, уложив вещи, представился. Зовут Федей, приятель Гена, едут до Ростова.

Когда поезд идет на юг, все равно, что он идет на север. В вагоне собираются люди из Мончегорска, Северодвинска, Норильска, Красновишерска и черт знает откуда еще и рассказывают разные истории о тех суровых краях, где у людей жестокие нравы, где достают из-за голенища нож, а из кармана кусок мяса размером с телячью ногу, где ни за понюх табаку проиграют вас в карты и зарежут, где из ста уголовных преступлений расследуется только одно.

Я помню, как мы, “квадратные витязи шевиота”, по справедливому замечанию того же Виктора Кривулина, забрались “копировать болота” в тайгу под Красновишерском. В тайге кругом уголовники. Валят лес. Постоянно сбегают из лагерей. Но куда убежишь? Дорог нет, рано или поздно беглецы выходят к реке, где их вылавливают патрули. В лучшем случае можно добежать до Чердыни, до той самой Чердыни, куда ссылали Осипа Мандельштама, любимого поэта Виктора Кривулина. Уголовники нападают на местных жителей, потому в тех краях к солдатам сохранилось какое-то послевоенное отношение, женщины угощают патрулей ягодой, а мужики табаком и самогоном. К нашему счастью, кроме лейтенанта с рацией, собакой и двумя солдатами, который проверил у нас документы, и медведя, собиравшего морошку, мы больше никого тогда в тайге не встретили.

Мой дядя Федя закурил и принялся рассказывать. Для затравки, не вдаваясь в детали, рассказал пару мелких историй. Вот послушайте. В их округе на добрую сотню километров – один врач. Молодой парень, лет двадцати восьми. Лечит любую болезнь, а вывихи, переломы, ушибы – и говорить нечего. Два раза его подкалывали бандиты, а недавно он снял с книжки сумму, купить что или поехать куда, так ночью к нему в квартиру залезли трое: отдавай деньги! Он посмел сопротивляться (надо ж было, отдал бы, да и все). Бандиты ударили его по голове и распорили живот. Думали, что врач готов, и, забрав деньги, исчезли, но он пришел в себя, задохнул вывалившиеся кишки обратно в живот и добежал до участкового милиционера. Милиционер радировал в центр – через полчаса вертолетом прибыла скорая помощь. Выжил. Теперь снова работает.

Дядя Федя рассказывал, а я физиологически ощущал, как меня ударили ножом, мышцы живота напряглись, внутри кололо.

Но это еще куда ни шло. Там, верно, и не такое бывает. Один одиннадцатилетний пацан сделал наган, подкараулил в безлюдном месте старика-пенсионе-

ра и, наставив дуло, повел в лес. Хорошо, тот же участковый милиционер случился неподалеку, а то пенсионеру бы крышка.

– Чего ты от него хотел? – спросили пацана.

– Да вот, сделал наган, хотел проверить – убьет ли он человека.

Выходит, дядя Федя редчайшее создание, зря я на него сердился. Затянувшись, он приступил к истории, которую, наверное, рассказывал уже не раз, о шофере из ихнего гаража. Но прежде об учителе, ибо учитель из той же истории.

Учителя лесорубы проиграли в карты (главное, лесорубы-то не из уголовников, а из наемных рабочих). Как обычно в таких случаях, нашелся доброжелатель, предупредивший учителя. А тому что делать? Купил ружье и таскает при себе: в школу – с ружьем, домой – с ружьем; дома в окна вставил решетки, к дверям прибил засов и цепочку, завел даже собаку, но надоело ему жить на взводе и учитель сам заявился в бригаду. Говорит бригадиру: или принимай меры, или я вас всех перестреляю. Тогда бригадир привел учителя к себе домой и показывает. Видит учитель: окна забаррикадированы, а двери обиты железом. “Меня тоже проиграли”, – говорит бригадир. Тем же днем учитель собрал чемодан и на автобус. Неизвестно, решил ли он совсем уехать, или направился с жалобой в центр, потому что сел учитель в автобус шофера-забудлдыги, чью историю и рассказывает дядя Федя.

А шофер был отменным забудлдыгой. Судите сами: завтра ему с утра на работу, а он заманил завгара к пивному ларьку и обрабатывает (привожу слова дяди Феде).

– Ну я завтра соскользну с машины, нужно к муле заглянуть, – говорит шофер, – в 12 буду на месте.

– Не знаю, не знаю, смотри.

– Ну, что там. Дядя Миша (это к ларешнику), подай еще по большой с подогревом.

– Ладно, – соглашается завгар, – только смотри.

А у мулы, ясное дело, наклюкался шофер самогона, муля добрая, продавцом в промаге работает.

Докончу рассказ от себя, лишь изредка обращаясь к помощи дяди Феде. В этих историях главное – сюжет, а не как их пересказывают; дополненные народной фантазией, они быстро распространяются и попадают на четвертые страницы газет.

Итак, шофер выехал навеселе, ладно, в автобусе было мало народу. До Крутой Балки доехали без приключений, натрясло разве сверх нормы, но тут пассажиры замечают: метрах в полста от дороги на дереве висит ребенок. Могли и не заметить – лес густой, но ребенок дергался и стонал. Вынули его из петли. Мальчик – лет пять-шесть. Только, видно, повесили. Спрашивают, а он не в силах опомниться, молчит. Минут через 5 автобус поравнялся с женщиной, идущей по дороге. В тех краях принято путников подбирать. Шофер, хоть и был навеселе, затормозил. Едва женщина села, мальчик как закричит: мама, мама! Люди сразу все поняли и обступили женщину. Подробности выяснились позже, уже на суде. Вдова Проскурякова сошлась с Петром Матюшниковым, а тот не схотел растить чужого ребенка. Я или он – так и сказал.

– Вот какие матери бывают, – подчеркнул дядя Федя.

Когда автобус приблизился к речке, у шофера совсем задвоило, пытался въехать на мост, да промахнулся, и автобус с кручи, перевернувшись, свалился в воду. Шофер пьяный-пьяным, дурак-дураком, а сумел открыть дверцу и выбраться наружу, правда, говорят, после он сошел с ума и второй год находится в психолечебнице. Шофер поднял крик, на который поспешил проезжавший мимо на мотоцикле лейтенант милиции. Многие должны помнить: о лейтенанте писали в газетах, о нем сообщалось в центральной прессе, за самоотверженный поступок лейтенант посмертно был награжден медалью “За отвагу”. Ныряя, лейтенант по одному вытаскивал затонувших, спас 7 человек, но вода была ледяная, а сил больше не было.

– Вот так, – заключил дядя Федя. – Можете у Гены спросить.

Гена кивнул.

– Да, Проскурякову посадили, сейчас отбывает срок, мальчик в детдоме, а бедняге учителю не повезло.

Дядя Федя сделал глубокую затажку, напустил столько дыму, что дым разъял сидевших в вагоне.

Вот так. Такие пейзажи.

1967

Яблоко

Девочка уронила яблоко на дорогу. Яблоко стукнулось и покатилося под гору. Ой! – закричала девочка, она побежала за яблоком, но из-за поворота выехала грузовая машина, девочка отскочила в сторону, а когда машина проехала – от яблока ничего не осталось. Жаль, – сказала себе девочка и обиженная пошла совсем не туда, куда шла раньше. Ей, в общем-то, и не очень было жалко яблока, но было обидно. Разиня, – ругала она себя, как это обычно делает мама. Когда яблоко только ударилось и из него брызнул сок, девочка подумала, что ничего такого, что яблоко упало. На месте ушиба у яблока становится особый вкус, будто его запекли, или, упав с яблони, оно долго грелось на солнце. Ей нравились такие яблоки. Ее дед, принимаясь за яблоко, доставал свой складной нож и костяной рукояткой бил по яблоку, пока оно не становилось мягким. На, попробуй моего, – говорил он. Дед старый, и у него слабые зубы.

Девочка пришла к морю и села на пустом берегу. Ей не хотелось думать, что яблоко раздавила машина, и она думала по-своему. Вот яблоко скатилось с горы и покатилося по дороге. И чем дальше оно удалялось, тем становилось крупнее и ярче светился его красный бок. Шофера останавливали машины, высовывались из кабин: – Эх, яблочко, куда котишься? Выбежал торговец из пивного ларька с ножом: – Яблок, яблок, дай отрежу кусочек. Какая-то тетка пыталась поймать яблоко ведром, пацаны стреляли в яблоко из рогаток, инвалид-сапожник из “мелкого ремонта обуви” запустил в яблоко обувной колодкой, но яблоко невредимым катилось все дальше, пока не скрылось из виду.

Нет, сказала себе девочка, так не бывает. Она сидела на берегу и смотрела прямо перед собой, обида все еще не проходила. Берег был пуст и безлюден, и кроме шума моря сюда не долетало никаких звуков. Девочка смотрела вниз

перед собой и чертила палкой по песку. Тут она заметила двух муравьев, которые тащили спичку. На их пути возникло углубление от каблука, муравьи свалились туда и долго выбирались наружу, песок под ними осыпался, но муравьи старательно семенили и выволокли спичку на ровное место, передохнули, к ним присоединился еще один муравей и они потащили спичку через бугорок. Им попадались, казалось бы, более заманчивые предметы: абрикосовая косточка, пуговица, кусочек пряника, но муравьи выбрали спичку и не хотели с ней расставаться. Вдруг бугорок зашевелился и из него вылез черный страшный жук. Муравьи испугались и разбежались кто куда, да и не только муравьи, испугалась и девочка. Наблюдая за муравьями, она уже успела представить себя на их месте и жук, преградивший муравьям дорогу, был вовсе не жук, а огромное мохнатое чудовище. Жук, жук! закричала девочка, иди отсюда, и отшвырнула его в воду. Теперь она заметила, что неподалеку от берега у самой воды летает чайка с перебитой лапой. Лапа беспомощно болталась, а чайка кричала, и крик ее напоминал скрип весла в уключине. Девочка забыла про муравьев и смотрела на чайку. Чайка пролетела влево над камнями, потом вернулась назад. Наверное, хочет есть, ищет и не может выбрать место, подумала девочка. Но чайка не собиралась садиться, на лету она резко останавливалась, падала вниз в волны и снова взлетала. Чайка искала рыбу. Вот ведь как, подумала девочка, у чайки перебита лапа, ей больно, но она хочет есть и ей нужно ловить рыбу. Девочка долго следила за чайкой и совсем забыла про свою обиду и про яблоко.

1967

Комедант

С раннего утра он тархтел под моим окном, как двигатель внутреннего сгорания, да что там двигатель, проезжавшие по улице автомашины не могли его заглушить. И непонятно, на каком языке он говорил, то ли на татарском, то ли на армянском, то ли на языке эсперанто, его речь превышала резвость французского, крепость испанского, трезвость немецкого и получалось что-то вроде: БАТБАЯРХАЯНХЯРВАВРОТРЕНЦЕРДОРЖЦЕВЕНДАРЖАВ РОТНАРАНЖЛАГЧБАСАНДЖАВЖУГДЕРМАТЬ.

Сначала, забравшись с головой под одеяло, я попробовал применить метод самовнушения и не обращать на него внимания, но знание элементарных основ психологии и психоанализа не помогло, не помогло и добротное войлочное одеяло фабрики “Парижская коммуна”.

Потом я встал и закрыл наглухо форточку. Вы бы знали, какие капитальные стены у нашего дома, построенного еще в петровские времена, какие рамы, какие стекла, но, увы, для его голоса, казалось, ничем даже бомбоубежище.

Тогда я включил репродуктор, но ни диктор всесоюзного радио, ни краснознаменный имени Александрова ансамбль песни и пляски, ни ленинградский диксиленд не могли его заглушить.

Тогда я сбежал на кухню и принес ведро воды. Не думайте, что это подействовало, но я был настойчив и вылил не менее десяти ведер.

На минуту он умолк.

Я выглянул из окна: вода, вылитая мной, замерзла, и на нем образовался ледяной колпак, но он проковырял у рта дырку и затараторил еще громче.

Тогда я выбросил в форточку стул. Стул разлетелся на составные части, точно и не был склеен, за стулом пошла в ход тумбочка, тумбочка была крепче и не поломалась, а отлетела на проезжую часть улицы, из тумбочки вывалился ящик, и по асфальту покатались различные мелочи: мыльница, бритвенный прибор, помазок, пузырьки, зубная щетка и т.п. Какой-то прохожий кинулся подбирать и чуть не попал под машину, а машина наехала на тумбочку и чуть не перевернулась.

Но этот тархтел по-прежнему. У меня оставалось последнее средство. Я открыл окно и подтащил к окну шкаф. Шкаф – это шкаф. Он расколол ледяной колпак, и говоривший замахал руками: БАТБАЯРХАЯНХЯРВАВРОТРЕНЦЕРДОРЖЦЕВЕНДАРЖАВРОТНАРАНЖЛАГЧБАСАНДЖАВЖУГДЕРМАТЬ.

Тут я увидел, что это комендант общежития. Он отчитывал первокурсников-монголов с первого этажа: Батбаяра, Хаякхярву, Ренцердоржа, Цевендаржа, Наранжлагча, Басанджава и Жугдера, – за грязные занавески и запыленные окна.

Через минуту он был в моей комнате.

– Сегодня же убирайся из общежития! В бухгалтерию уплатишь за стул, тумбочку и шкаф!

Я слышал, как он кричал в коридоре.

1968

Свалка

Жора говорит: слов нет, одни буквы. Это когда не клюет рыба. Жора мне сразу понравился. На кого-то он похож. На кого – вспомнить не мог.

Рыбную ловлю, действительно, можно было аттестовать одними буквами, причем непечатными, делать было нечего, и Жора принялся рассказывать случаи из своей практики (повторять не буду, такие истории интересно слушать только на берегу, когда не клюет), потом от рыболовных дел он перешел к рассказам о сборе ягод и грибов (эти рассказы повторять уж совсем неинтересно), и тут я вспомнил на кого он похож. Жора похож на одного моего знакомого поэта, с которым я несколько раз собирался поехать за грибами, но так и не собрался. Мне стало ясно, чем мне понравился Жора. Обладая всеми компанейскими качествами упомянутого поэта, он превосходит его одним неоспоримым достоинством – не пишет стихов. Жора шофер. Его работа – вывозить бытовой мусор на свалку. Признаюсь, я впервые разговаривал с шофером такого профиля, поэтому позволю пересказать несколько историй из его шоферской практики.

Городская свалка – это не просто место, где сваливаются и гниют отходы человеческого быта, это целый мир, где продолжается своя тайная жизнь, как жизнь воровских шаек, притонов, спекулянтов, закулисных политиков. На свалке собираются ханьги, спившиеся люди, маразматика, политурщики, здесь

они находят себе добычу, начиная от стеклотары и кончая всевозможным вторсырьем. Работа, конечно, сволочная. Смарад, вонь, крысы. Иногда в баках попадают руки, ноги и другие части человеческого тела, однажды вывалили убитую женщину... Но ханыги – люди бывалые, можно даже сказать, патриотически настроенные. Как-то один уголовник решил совершить побег из тюрьмы, залез в бак, его привезли на свалку, вывалили. Ханыги смотрят – пиджак, ничего пиджак, ткнули, а там не пиджак – человек с ножом. Ханыги не растерялись, приперли его вилами, сдали в милицию. Особый вид промысла – опарыш*. Опарыша привозят в баках из мясокомбината. Жора говорит, был один ханыга, который специализировался на опарыше, нагребет ведро, потом возле зоомага продает – 50 копеек спичечный коробок. Все любители-рыболовы города, кому довелось испытать счастливые минуты удачного клева, должны знать этого человека. Опарыш – редкая наживка. Рыба может пренебрегнут навозным червем, хлебным мякишем, кукурузным зерном, муравьиным яйцом, мухой, кузнечиком, мотылем, короедом, чем угодно, только не опарышем. Но вот, говорит Жора, наступил момент и опарыш вдруг пропал. Встречаю этого ханыгу. – Что такое? – говорю. – Да вот. – Что? – Да вот. В общем, бросил. А дело было так. Продал он полведра, остальное отнес домой, потом, как водится, закрутил балду и попал на 15 суток. Через полмесяца возвращается, открывает дверь, а там, мать родная, мухи летают тучами. Как было сказано в сноске, опарыш – личинка мухи, за 15 суток они вылупились и отложили новые яйца**. После этого ханыга сменил промысел, перешел на стеклотару.

Жора рассказывал мне еще какие-то истории, но их я забыл, наверное, потому и забыл, что запоминать было нечего. Мы просидели до часу ночи в ожидании клева, а потом уснули девственным сном на причале под тентом.

Мне кажется, Жора ко мне тоже расположился. Ведь он не мог знать, что я упражняюсь в писательстве чепухи, подобной этой. Но честное слово, одно дорогое Жора, писателем я быть не собираюсь. У писателей, правда, есть преимущество, им никогда не грозит кризис бесплодия. Достаточно писать, что есть у тебя в голове, и все будет хорошо, ведь мысль человеческая бесконечна. Думаю, те писатели, которые зашли в тупик, просто писали не о том, что было в них самих, а о чем-то постороннем.

1969

Приказ

– Рядовой N! – раздался окрик лейтенанта. – Рядовой N, вы почему нарушаете устав? Носить чуб рядовому составу запрещается. Сегодня же остричь и доложить мне!

N не мог представить себя без чуба, но голос лейтенанта преследовал: рядовой N!

* Опарыш – мясной червь, личинка мухи, подробную консультацию по этому вопросу можно получить у Л.А. Руткевича.

** За консультацией опять же рекомендую обращаться к Л.А. Руткевичу.

– Слушаюсь, товарищ лейтенант!

Вечером N шел докладывать, что приказ выполнен, но лейтенант получил срочное задание и отбыл из части.

После отбоя N долго не мог уснуть. А во сне увидел свой дом, мать в огороде. Она попросила его полить грядки. Он взял шланг, и шланг превратился в змею, змея, извиваясь, скрутила ему руки и туловище. Он метался, кричал, но высвободиться не мог. Проснулся N от нестерпимого зуда. Тело горело, точно полковой парикмахер ссыпал в постель кучу волос. Пошарив под одеялом и ошупав подушку, он почувствовал что-то неладное, а когда провел рукой по голове, к потной ладони прилипли мелкие колючие волосы. N включил свет, достал из тумбочки зеркало и увидел на месте чуба розовую плешину. Не помня себя, он стал кричать, порвал рубаху, а потом в исступлении стал поднимать кровать за спинку и бить об пол. Казарма проснулась от шума. Сначала никто толком не понял в чем дело, едва разобрались – пробовали успокоить, но как успокоить взбешенного человека? “Не подходи, убью!” – кричал N. Тогда его накрыли сзади одеялом и связали.

К вечеру он утих. Дежурному дали распоряжение снять веревки. N умылся, оправил форму и пошел докладывать, что приказ выполнен. Но лейтенанта не было в части. Не было лейтенанта на второй день, на третий... Возвращаясь с задания, лейтенант попал в автомобильную катастрофу.

1967

Нос

Нос прежде всего бросался в глаза. Такой уж это был нос, ничего не замечаешь, только его. Классическая литература дает достойные примеры сравнения носа с овощами, корнеплодами, предметами домашней утвари и проч., но я не буду слепо следовать традиции, а ограничусь замечанием, что нос бросался прежде всего в глаза, был отправным пунктом, от которого происходит знакомство с человеком, остальное позволю читателю дорисовать самому по своему выбору.

– Здорово, – сказал обладатель носа, – я Вовка, кандидат богословия, а ты кто?

– Валерка.

– Ну да?

– А что?

– Ничего, давай нырнем.

Вовка нырнул, а я погрузился в размышления. Если от седьмого шейного позвонка к пятке провести линию, то это будет прямая, на которой находится центр тяжести. Если от кончика носа к пупку провести вторую линию, то она будет параллельна первой. По этой линии человек, передвигаясь, соприкасается с новым пространством. С годами люди начинают либо полнеть, либо усыхать, и вперед выдается у кого нос, у кого живот. Подобный ход в анатомическую геометрию, несомненно, имеет целью показать, что выделение носа на первый план может носить не произвольный, а конструктивный характер. Тем не менее

у Вовки обе линии были строго параллельны, и это лишний раз доказывает: нос его – явление исключительное.

Однако прошла уже уйма времени, а Вовка из воды не показывался. Я уже стал молить бога и просить прощения, что ничем не могу помочь его служителю, но тут увидел: Вовка сидит на противоположном берегу и дрыгает ногами. Кандидат. Мне до того берега карабкаться и карабкаться, дай бог доплыть, а он нырнул и – одним махом.

Через минуту Вовка сидел рядом со мной. Высморкавшись, он спросил:

– Ты чего здесь делаешь?

– Ничего.

– И я ничего, из библиотеки удрал, диссертацию пишу. В бога веришь?

– Верю.

– Правильно, пойдем выпьем.

У каждого человека есть норма, сколько он может выпить. Кому-то за дружеской беседой ничего не стоит опорожнить пару трехлитровых бутылей пива или залпом выпить на спор литр водки, количество же выпитого вина вообще, не идет в счет. Моя норма довольно скромная, это те самые 100 миллилитров алкоголя, рисуемые на всех антиалкогольных плакатах, которые снижают трудоспособность нормального человека на 40 процентов, а меня приводят в состояние, когда хочется вести споры на политические, философские, религиозные, литературные или спортивные темы, смотря по тому, кто собеседник.

Вступать в спор с кандидатом богословия мне, однако, не хотелось, и не только по причине явной неподготовленности. С детства я был верующим, твердил про себя молитвы. Но эта вера языческая. Помню как-то посмотрел в глаза корове, мне показалось: коровий глаз – это божье око. Волею обстоятельств я остался нехристом, поэтому в споре с верующими становлюсь на сторону атеизма, в споре с атеистами защищаю религию.

Вовка взял четыре бутылки сухого.

– Зачем столько, я больше стакана не пью.

– Ты не пьешь, я выпью.

Мы устроились на берегу, Вовка откупорил бутылки, погладил бороду, перекрестился... Он пил, а нос его изменялся в цвете. Я убедился, что поступил совершенно правильно, отказавшись в самом начале сравнивать вовкин нос с конкретными предметами, ведь эти сравнения всегда бывают однозначными. Вовкин же нос изменялся не только по цвету, включая в себя всю палитру отечественной фабрики художественных красок, но и по форме, поэтому в равной мере мог быть сравнен со всеми корнеплодами, фруктами и предметами домашней утвари, чем угодно.

Я быстро вошел в норму, и меня понесло.

– Вовка, а ты в самом деле веришь в загробную жизнь?

– Да иди ты.

– А чего?

– Да ничего. Хочешь анекдот расскажу: пошли как-то отец Ануфрий и отец Афанасий на речку купаться, отец Ануфрий и говорит: батюшка, а кальсоны будем снимать?

- Да ну тебя, я серьезно.
- И я серьезно.
- Так что?
- Ничего. Ты сколько классов кончил?
- При чем тут классов, я институт кончил.
- Тогда извини, пойдем нырнем.
- Не хочу.
- Ну и не надо.

Он засунул палец в нос, вынул оттуда козулю, скатал, как хлебный мякиш, и бросил в воду.

- Мне пора, – сказал он, – бог тебе в помощь.
- Он ушел, и я больше его не видел.

Он ушел и оставил меня с носом, точнее, оставил мне единственное занятие – описать его нос со старанием, подобно студийцу из рисовального класса, штудирующему гипсовый слепок с носа микельанджеловского Давида. И если кому-то покажется, что я от нечего делать прицепился к этому носу, то прошу прощения.

1969

Рамы

Странные вещи происходят. Наши лучшие люди на доске почета повели себя не лучшим образом. Иван Данилович Фомин, лучший станочник района, ударник труда, язык показывает. Глеб Фомич Горьшин на виду у публики затылок чешет. Егор Петрович Жолобов, токарь-карусельщик, нарисовал себе углем усы и доволен, всем известно, что усов у него нет, говорят, что он и жену бьет, и каждый день домой пьяный приходит. Петр Иванович Ефремов, бригадир-наставник, рационализатор, прожег сигаретой угол рта и все время хохочет, даже безо всякого повода и когда не следует. Карл Платонович Дряхов, известный ученый, шокирует всех своим видом – вечно он в грязной рубашке и с синяком под глазом, что никак не приличествует его доброму имени и общественному положению. Кондрат Никонорович Клещев надул щеки, будто набрал в рот воды и вот-вот брызнет на прохожих. И уж старая женщина, Еремина Ольга Александровна, заслуженная учительница республики, и та стреляет из рогатки. А Семен Иванович Пряхин такую скорбную физиономию скорчил, хоть помирай.

Если б кто знал, что они так поступят, то и портреты бы не заказывали. Портреты-то обошлись в копейку, каждый с начислениями по сто рублей, сначала хотели заказать подешевле способом “сухая кисть”, но потом наверху сказали, что таких почетных людей нужно писать только маслом. Праздник на носу, заказывать новые портреты поздно, да и кто знает, чем это обернется, а убрать тоже нельзя: какой же праздник без праздничного оформления. Тогда заслуженная учительница Еремина заявила в оргкомитете, что за такие деньги она и сама постоит. Горьшин, Ефремов, Пряхин и другие поддержали это предложение.

И вот наступил праздник. Народ вышел на улицу. Кругом флаги, транспаранты, настроение у всех приподнятое. Фомин полдня крепился, потом говорит Пряхину: смотри, люди гуляют, а мы стоим, постой за меня, я в гастронорм сбегаю. Сложились по рублю. Фомин побежал – и с концом. А Пряхину хлопотно пришлось. Идет человек – ему нужно в своей раме постоять и незаметно перебежать в соседнюю, так и бегал туда-сюда, а тут вдруг толпа, Пряхин вовремя сообразил, взял и приставил раму Фомина к своей, стал сразу в двух рамах стоять, но сколько можно, Фомина нет и нет. Тогда Пряхин изменил выражение лица и походку, чтоб его не узнали, и незаметно исчез. Горышин, Ефремов, Дряхов, Клещеев, Жолобов видят, раз такое дело, и потихоньку один за другим разбежались тоже. Осталась только заслуженная учительница республики Еремина, но вскоре пришел пьяный Фомин и вытолкнул учительницу: ты чего на моем месте стоишь, а ну давай отсюда. Учительница упала в обморок, а Фомин на раме повис. Отправили учительницу в больницу, Фомина – в вытрезвитель. Так рамы пустыми и простояли весь праздник, будто у нас достойных людей и нет.

1969

Пожар

Человека постоянно подстерегают опасности, и когда над Комаровым, этажом выше, поселился пожарник, и не просто пожарник, а начальник пожарной охраны, Комаров решил, что от пожара-то он теперь застрахован. Раньше других соседей он завязал с пожарником знакомство, встречаясь на лестнице у почтового ящика, они мимоходом обсуждали газетные новости: футбольный чемпионат, лотерею, события за рубежом, отдел происшествий, сводку погоды.

– Погода сухая, – говорил пожарник.

– Да, да, весьма...

– В такую погоду, друг мой, спичку бросишь – пожар, а смотрите, в отделе происшествий пожаров нет, все больше кражи и мелкое хулиганство.

Но вот в один из вечеров, кажется в субботу, у Комарова вдруг задрожал потолок, будто наверху прыгают и переставляют мебель. Наверное, пожарник мобилируется, подумал Комаров. В следующую субботу потолок задрожал еще сильнее, теперь Комаров различал уже отдельные удары, когда упадет стол, когда кто-то ударится о стену или во всю ширину своих габаритов грохнется об пол шкаф. На потолке образовалась крупная трещина; ничего, ничего, утешал себя Комаров, наверное, у пожарника новоселье. А через субботу от потолка стала отваливаться штукатурка, и Комаров не выдержал. Он побежал вверх, позвонил – не открывают, постучал – без результата. Чего стучишь, сказала ему дворничиха, известное дело – напился пьяный и казачка танцует. Ну ладно, сказал Комаров. На другой день он купил 50 коробок спичек и стал готовить селитровую бомбу. Пожарник же при встрече вел себя как ни в чем не бывало.

– Погода сухая, – говорит он.

– Да, да, весьма.

И вот в субботу только пожарник напился и принялся за казачка, Комаров поджег бомбу и бросил пожарнику в форточку. Раздался взрыв, потом наступила минутная тишина, а через минуту к дому подъехали четыре пожарных машины и начали в четыре струи поливать дом. Подняли лестницу, влезли на крышу, залезли к Комарову в окно и зачем-то протянули шланг через квартиру в коридор. Топот, гвалт, возня, натаскали грязи, а пожарник, непонятно как, очутился на крыше противоположного дома и подавал оттуда команды.

– Ну как? – похлопал он утром Комарова по плечу. – Здорово?

– Здорово, – ответил Комаров.

1968

Ай донт

Мужчина в импортной велюровой шляпе, в тереленовом импортном плаще, в замшевых импортных ботинках выбирал в магазине музыкальных товаров балалайку. Он осмотрел несколько инструментов и на каждом исполнил отдельную музыкальную фразу.

За ним в отечественной велюровой шляпе, в тереленовом отечественном плаще, в замшевых отечественных ботинках стоял иностранец и слушал.

Когда мужчина выбрал, иностранец сказал:

– Ду ю спик англиш?

– Ай донт, – ответил мужчина, взял балалайку и вышел из магазина.

Иностранец сунул руки в карманы и перешел в соседний отдел, где выбирали бас-гитару.

Я же, глядя на все это, прикинул: а чего, собственно, я здесь делаю, что мне в этом магазине надо. После чего сунул руки в карманы и спокойно удалился.

1967

Монолог

Куда жизнь идет и что с нами со всеми будет, не знаю.

Клопы и те обнаглели. Достаю простыню, постель стелить, а на простыне – клоп. Прежде хоть совесть была, ночью озорничали, а днем по щелям прятались, под обивкой, под обоями, под семейной фотографией, а то и в телевизоре. Теперь лень с места сойти. Сбросил его на пол и смотрю. Он упал лапами вверх, засуетился, хочет перевернуться – не может, и так и этак, вот-вот еще усилие..., но никак. Дистрофия, ярко выраженная. Помог я ему, он отполз сантиметров на пять и замер. Ну чего, думаю, сидишь, дорогуша, прихлопну сейчас тебя ботинком. Где это мой ботинок, под столом, как он туда попал, вставать надо, ладно, подожду немного, посмотрю, что будет. А клоп сидит. Поддел его ногтем, он чуть-чуть подвинулся и опять сел. Что ему, жить надоело, или думает, я с ним чикаться буду, не знает что ли, как в таких случаях поступают. Дунул на него, никакого впечатления, сидит. Нет, я так не могу.

– Жена, – кричу, – иди убей клопа, спасу от них нет.

Да, есть в нас какая-то лень, неисполненность желаний, чувство тоски и неудовлетворенности. Время такое, что ли.

1969

Выходя из пирожковой

– С пятерки сдачи нет и не стойте, нет, нет и волноваться не буду, разменяйте – отпущу без очереди.

“Подумаешь, тоже мне, старая жаровня, зад не подшмали, ишь, разговаривать не хочет, все вы, булочники, спекулянты, жучники и обдиралы, ханыги и, сквальги, чтоб вас громом ударило, травмаем переехало. Обвешают, обсчитают, прикарманят, а трудяге, значит, и пожрать нельзя. Вот и матрос 2-ой статьи Иван Погорелов затонул на броненосце “Русалка”, а с ним вся команда в 176 человек. Так это ж было в жестокую эпоху царизма. А теперь? Ах ты, scarлатина стрептоцитовая, крыса амбарная, халат застегни, интеллигентка вонючая, а то титьки видать, тоже благородную из себя корчит, а будка – ночью под мостом встретишь – не обрадуешься. Ты думаешь, без твоих пирожков не обойдусь, да я на вокзале у лотошницы дешевле и горячее возьму. Ах ты, скотобаза, кизяк коровий, доильный агрегат “елочка”, на счетах стучишь, думаешь не вижу, как ты, морда, кофе не доливаешь. Да мне наплевать, обжирайся, отращивай пузо, сало в 3 пальца, окорок выйдет что надо. Вот Зинка, которая тут работала, правильная баба была, как увидит – сразу зовет, чего хочешь? – спрашивает, посадили, падлы, Зинку за растрату, так она ж людей не обворовывала, сама растратилась. А ты у меня еще попляшешь, вошь китайская, ишь прогрессивку захотела, утроба, карман держи шире, подтяни резинку. Скажи спасибо, что я добрый, другой бы тебе показал, где японский бог, а где русский микада. Жаль, что спешу. Торчи”.

1967

Кошка и бабка

Д.Г.

Кошка терлась о колени и мурлыкала. Бесконечные рулады убаякивали бабку. Бабка была одинока. Подвернись какой старикашка-таракашка. Да нет. Кошка – тоже в годах. 8 лет – вполне преклонный кошачий возраст. Старушки были неразлучны. Кошка да бабка. Бабка да кошка. Одно тревожило бабку: кошка была девственницей.

Она не подпускала к себе котов. Щетинилась, шипела, царапалась, после чего у любого искусителя отпадало какое-либо желание. Не помогло и общество охраны животных. Кошка презирала сводничество. Она так тяпнула породистого ангорского кота, что красавец едва отфыркался.

Но однажды кошка исчезла из дома.

Прошел день. Нет кошки. Еще день. Нет кошки. Солнце влезало на крышу и скатывалось в переулок. Нет кошки.

Явилась она на третьи сутки, помятая и смущенная. Проскользнула и притерлась в угол.

Всю ночь бессонница тормошила бабку. 8 лет делить горе и радости – не постель разделить на одну ночь. И кто мог обесчестить кошку? Кто?

Назавтра, только за вечерело, за дверью послышалось мяуканье. Бабка открыла. Кто?

На пороге стоял соблазнитель. Бродяга и межчердачный скандалист, измызганный, покусанный, с одним ухом, без хвоста. Подслеповатый взгляд, полное отсутствие интеллекта. Бабка впустила кота, накормила. Как ни как, а жених.

Кошка забеременела. И хлопот у бабки не оберешься: диетпитание, вызов ветеринара. А врачи? Разве они что знают? Года-то у кошки не те. Опасно.

Но кошка благополучно окотилась и бросила котят.

С этого времени в ее устремлениях произошел крупный сдвиг. Кошка не скрашивала больше бабкин досуг и кинулась в беспутство. Все коты из близлежащих домов проявляли к ней интерес. Устраивали драки. И кошка не знала удержу. Котят бросала, даже не облизав. Вскоре она оставила дом и стала чердачной проституткой.

1965

Ситуация

Пить я бросил. На водку смотреть не могу, пиво и раньше не пил, от вина – изжога, голова болит, да хороших вин, кстати, и нет. Курить бросил. Даже когда выпью, не тянет, впрочем, о чем речь, ведь я не пью. Женщин оставил. Одну обругал последними словами – ушла, обиделась, другой сказал, что у меня таких, как она, много – тоже обиделась, третьей не на что было обижаться – просто вышла замуж, еще одна была – потерял телефон, где сейчас – не знаю, ну и слава богу.

Сел и задумался: пить не пью, курить – не курю, женщин у меня нет, что же это за жизнь, спрашивается, и зачем она такая нужна, не пора ли того... Долго думал – страшно стало. Вот так всегда и бывает, стоит начать, оно и потянется по ниточке одно за одним, уж лучше не начинать.

1969

Здрасьте

В жизни нередко случаются положения, о которых скромному человеку даже говорить стыдно. Представляете, войти в туалет и столкнуться носом к носу с преподавателем эстетики, человеком возвышенным и благородным, другом Горація и Жан-Жака Руссо, поэтом лирико-эпического склада, чей талант не имеет себе равных на поэтических четвергах в Доме писателей и

других литературных салонах города. И как тут поступить? Пятиться назад – поздно, сделать вид, что не заметил, – неуклюже. Поневоле начинаешь ругать демократическую систему, ведь были же когда-то отдельные туалеты для студентов и преподавательского состава. Робко отступив в сторону и склонив голову, говоришь: здравствуйте, – и краснееешь, но уже больше от того, что заставил смутиться такого почтенного человека, как Николай Григорьевич. А он вздрагивает, поспешно застегивает ширинку, открывает рот и не может ничего сказать, и только с третьей попытки виновато шепелявит: здравствуйте. О, Санта Мария, Пьеро делла Франческо, Марио Дальмоноко! О, Савонарола!

1967

Полдень

Бабочка летает вдоль речки, перелететь не может. Желтые лютики высунулись из травы и одуванчики, белые, как бабочка, которая затерялась в них. Когда проплывает моторная лодка, волны веером расходятся к берегу. На берегу загорают люди. Вино выпито и бутылки брошены в траву. Тянет искупаться. Пацаны саженками уже переплыли на тот берег. Нырнул инвалид, разбежавшись на костылях, и воткнулся головой в ил. Задрывал единственной ногой. Долго обмывал лысый череп и поплыл. После выпитого вина тянет в тень. Лето. Пришла бабка, рассказала, что в клубе идет закрытый процесс над парнем – пырнул, стервец, своего тестя по пьяному делу ножом; собрала бутылки в плетеную кошелку и добавила, что процесс закрытый – сам попросил. Если тянет в тень – значит уже лето. В тени у забора расположилась кладовица с мужем. Разомлев, она почти обнажила белые груди, говорят, самые богатые во всей деревне (бюстгальтер 11-ый номер), но для приличия бюстгальтер не расстегнула. Кладовица берет мужнину руку и тычет ей себе в грудь, чтобы посмотрел, как она за день подрумянилась на солнце, или еще зачем. Наконец, в воду полезли три друга-забуддыги, которые сидели высоко на берегу, всех видели и обсуждали. Неизвестно откуда они достали еще одну бутылку вермута. Опрокинули. Бабке пришлось вернуться и подобрать бутылку. Третий из них долго не хотел лезть в воду по той причине, что в речку из бани стекает всякая параша, но его убедили, что течение в другую сторону, и он полез.

Так можно сидеть у речки в тени и на солнце, пока тени не передвинутся к вечеру. В клубе кончится процесс и начнутся танцы под джаз-оркестр. Каждому оркестранту директор клуба выплачивает по 6 рублей за вечер.

1967

Как это было

Он выпил стакан водки и дематериализовался. Сел и стал ждать, когда материализуется.

Но это было не так.

Он шел по Большому проспекту Петроградской стороны, выписывая такие зигзаги, что, когда на пути ему попался проходной двор, он вылетел из него на Большую Пушкинскую улицу.

Но это было не так.

Он шел по Кировскому мосту и увидел слона. Прежде ему доводилось видеть чертиков. Теперь он увидел слона и понял, что все кончено.

Но это было не так.

Через следующий проходной двор он снова попал на Большой проспект.

Но это было не так.

Он сидел на крыше дома между двух параллельных улиц, Большого проспекта и Большой Пушкарской, и смотрел в небо. Когда он смотрел в небо, ему казалось, что его нет. Он хотел материализоваться.

Но это было не так.

Как же было.

Утром он развернул газету и прочитал, что вчера слона водили по Кировскому мосту из цирка в зоопарк. Представления продолжаются.

Он понял: не все кончено и он, наконец, материализовался.

1968

Портреты

В вестибюле, прислонясь к стене, курит мастер сухой кисти N.

– Ну как? – спрашивают его.

– Да так, только-только, расценки срезали, портрет – семь рублей.

У его ног – связка холстов: Пушкин, Гоголь, Некрасов, Тургенев, Достоевский, Толстой, С.-Щедрин, Чехов.

Взял заказ в районной библиотеке.

– На совет носил?

– Да.

– Приняли?

– Приняли. С доделками, у Гоголя нос подправить, у Толстого выражение лица.

Стоит N, курит. Вот ходят же слухи, что художники деньги гребут, где они, деньги-то.

А перевести взгляд на холсты и попросить N показать, то и там можно заметить то же настроение. Сложены портреты друг к другу, как карты в колоде, и тесно им, как в антологии, уравнили их и в цене, и в размере, разве Толстого так нужно писать, как, допустим, Чехова, и совсем сделали братьями-близнецами, потому что вышли они из-под одной кисти, унаследовав скверный характер исполнителя, склонность к спиртному и азартным играм. Каждый художник, тем более такой мастер, как N, рисует всех похожими на себя. И еще радость – висеть в темном коридоре районной библиотеки.

1968

Ректификат

Пить надо с разбором, в том смысле, что когда пьешь, надо знать, что пьешь, а то всякие вещи могут произойти, чему я однажды и был свидетель.

Привезли к нам на участок спирт, инженер говорит: не пейте – ректификат.

Да ну, говорим, проверить надо. Понюхали. – Ну как? – Пахнет. – Чем пахнет? – Спиртом. – Значит того, спирт не пахнет. – Ерунда, сейчас узнаем. По двору собака бегала, поймали ее, напоили. – Засекай время. Смотрим: 10 минут – собака бежит, 20 минут – бежит, полчаса – бежит, все в порядке, давай. Помянем, братцы, патриарха всея Руси Алексия, толковый был человек. Выпили, смотрим – собака лежит. Караул! Скорей звонить в скорую помощь, а со всеми уже плохо. Шаронов по пожарной лестнице на крышу залез, Махин нашел на стене точку и устался в нее, сидит – ни с места. Петрунину вдруг представилось, что его нет, он стал ползать по полу и искать себя: где я? где я? нет меня, нет меня, правда нет, есть, да? а где? нету, где же я, где? только что был, и здесь нету, и здесь нету, нет... Старов, человек бывалый, уже записку написал: прошу в смерти моей никого не винить... Приезжала скорая, прочистили всем желудки, смотрим – собака бежит. Вот собака, надо же так.

На другой день собрались, обсуждаем кто виноват, все ругают Старова, плохо, мол, нюхал. Старов говорит: я-то при чем, Шаронов придумал собаку напоить. Вот те раз, говорит Шаронов, а кто спешил – давай, давай, надо было подождать. Чего ждать, говорит Махин, когда все ясно, вот зачем скорую вызывали, чья работа, Петрунин, ты вызвал? Нет, говорит Петрунин, я очки потерял, это он. Тут все на меня, а я говорю: чего орете, хорошо, что так кончилось, а могло быть хуже, и вообще, говорю, лучше пить очищенную со знаком качества, а не ректификат, тоже нашли удовольствие.

1969

Дед

Не дают деду спокойного житья. С хозяйством одна морока. А тут еще чужой пес к дому приبلудился. Вонючий, измызганный, плешивый. Свой песик Шумок (хорошая цепная собака) гавкал-гавкал, да привык. В конуру стал пускать. Деда это совсем озлило. Достал дед дробовик, почистил, помазал, достал мешочек с порохом (дернуло ж его как-то смешать дымный порох с бездымным, сосед говорит, если такой смесью стрельнуть, разнесет ружье к чертовой матери), просеял порох, набил гильзы и вышел на крыльцо.

Но глянул на пса и засомневался. Уж больно пес жалкий и плешивый. Убьешь – вонять будет. Лучше привязать веревкой, отвести куда подальше, там и шлепнуть. Отвел дед пса к речке, но не застрелил, а бросил в воду. Пусть плывет. Пес с ним.

Пришел домой, успокоился, занавесочку отдернул – посмотреть, что там во дворе. И видит дед: снаружи на окне большущий паук паутину сплел. Вот кровопивец, пчел ловит, что улики не могут найти и, дурные, о стекло бьются. Дед через форточку пристукнул паука палкой. Вот тебе, вот тебе. Выбежал во двор, смел веником всю паутину и затоптал дохлого паука в землю.

Но не успел дед прийти в себя от этого злключения, как глядь – у калитки стоит сосед. Наверное, унюхал, что дед с собакой расправлялся, но нет, сосед пришел насчет столба. И сколько раз дед ему говорил, что не даст денег, а тот все пристаёт. За дурака что ли считает. Вот так бы рассудил: зачем ему столб.

В переулке пять домов. Уже планы обмеряли, сносить будут, а соседей дом оставят. Потому он и собирает по два рубля, хочет за чужой счет аварийный столб поставить. Но нет, деда он не проведет. Пускай столб электросбыт ставит.

Поругался дед, пошел в дом, да ступил на дощечку через канаву, дощечка хрустнула и проломилась. Дед и крикнуть не успел, как упал в канаву. Ох, и разбушевался же дед. Дощечку изрубил в щепки, а канаву перекопал, чтоб осталось от нее одно ровное место.

Нет, не дадут спокойного житья.

А по ночам того хуже. Войну дед бедовал в эвакуации с двумя внуками и внучкой. Отца ихнего на фронте убили, мать померла от тифа. Старшему внуку исполнилось 15 лет, и он работал на военном заводе. На паек выдавали 300 граммов хлеба, столько же, сколько деду вместе с младшими. Но тот рос, на работе уставал, а организм требовал, и парень нет-нет да отнимет у них кусок хлеба.

Тогда дед сказал: раз так, уходи от нас. Внук и вправду ушел. Больше его не видели. Замерз он или с голоду помер, кто знает.

Через месяц умерла девочка, выжил только младший внук, сейчас он женился и живет отдельно от деда.

Много лет уткло, но дед не может этого забыть. А в последнее время внук является ему по ночам как привидение. Стоит в белом балахоне посреди комнаты, а то и за одеяло дернет: “Ну что, хлебушка жалко?”. Дед прогонял его, кричал, пробовал из ружья стрелять, но ружье дает осечку. Наверное, и пса потому не застрелил.

Тогда дед стал на ночь включать свет; привидения не видно, но голос все тот же: “Что, хлебушка жалко?”.

Какое уж тут спокойное житье?

1969

Музыка

Вы ведь знаете, что значит иметь радиолу в коммунальной квартире. Все равно, что держать жирафа, тайком от соседей водить его в туалет, давать подышать у окна свежим воздухом, но так, чтоб не высунул голову в форточку. Да, да, но мой приятель, несмотря на все это, купил новую стереорадиолу с выходной мощностью 60 ватт. Купил, привез, врубил на полную катушку и пригласил меня слушать. Стереозффект, скажу, получился потрясающий, особенно, если судить о степени его воздействия на соседей. Соседи ходили по квартире вдоль стен с видом заговорщиков. Представляю, как одинокая вдова, которую отделяла от приятеля лишь засыпная перегородка, была готова взять на кухне мокрую тряпку и заехать по его профилю. Старичок-пенсионер нервно рылся в бумагах, дабы найти бюллетень горисполкома с постановлением о мерах борьбы с шумом. Старичок точно знал, что такое постановление есть, но нужно удостовериться, а то вдруг что-то отменили или внесли поправку. Другой сосед, водитель трамвая, человек иного склада, как говорится, без бога, без царя, без кондуктора, что значит по-нашему – без дирижера, мог

запросто войти и вставить в симфонию речитатив из отборного мата. Я ждал, чем все кончится, а приятель не обращал на это внимания и был спокоен. После симфонии он поставил Кантату Баха, №137 по Верке Ферцайхнису, и тут я услышал, что к голосам хора присоединился шум публики из коридора. Над нами нависла угроза, готовая обрушиться в любую минуту, как волна цунами на японские острова. Но приятель был спокоен. Он открыл дверь, высунул рыжую бороду и громко сказал:

– Так это же Бах, господи! – и закрыл.

В квартире установилось временное равновесие, мы спокойно прослушали еще пару пластинок, потом он поставил Реквием Моцарта, соч. 626 по Кёхелю. Публика снова выступила на авансцену. Тогда приятель открыл дверь и сказал:

– Так это же Моцарт, господи!

И знаете, подействовало. Только поздно вечером вдруг раздалась одинокие голоса. Приятель вышел и сказал:

– Так это же, господи, Густав Малер.

И все. Больше нам никто не мешал. С тех пор он спокойно слушает музыку.

1968

Монолог в очереди

Т. и В.Б.

– Зинка как вышла на пенсию, так и запила, каждый день пьет, мы вот с Райкой ее домой притащили, на кровать положили, она встала и окно высадилась вместе с наличниками. Пьет и пьет, Розка от этого с ней жить не хочет, какая ж это жизнь – каждый день бузит, а у ней внуки тут, совсем у бабы совести нет. Брат ей надуть спирту привез, она насосалась, а спирт-то неочищенный был – неделю животом мучилась. А как жила-то хорошо раньше, еще в прошлом году мне показывала: напасено у ней было и компотов, и варенья, сейчас еще у ней 15 литров вишни засыпано. Я говорю: Зинка, дай, все равно ты пьешь, тебе не надо. А она говорит: нет, тетя Шура, как выпьешь – так слатенького хочется. Я и говорю: Зинка, чего ты пьешь, ты ж справная баба? А она говорит: так хочется выпить, тетя Шура. А то чего не выпить, мужа-то давно нет, сватались к ней – не пошла, за кого хотела – не взяли. Она за Илью хотела, у Ильи хозяйство (за рекой живет), мужик сам непьющий, гастрит у него, мамаша строгая, да не пришлось. А как хорошо раньше жила, корову держала, а у меня пенсия была 37 рублей, на 37 не больно-то разойдешься, где там с Зинкой тягаться, я пошла – два года поработала, теперь 42-50 получаю, оно тоже не раскупаешься, но, как ни говори, свой кусок хлеба есть, не то захочу и тресочку себе возьму, и селедочку, на майские-то поросеночка купила, козу держу. Сена вон накосила на 50 рублей, Семену-соседу говорю: будешь косить? – он говорит: нет. У него баба в столовой на кухне работает, помои носит, так я и его покос скосила. Брат помог. Я на него сердитая была, а тут он приехал, дров напил, сено скосил, сметал, я ему маленькую поставила. Зинка сей миг пронюхала и нате вам: не хочешь ли, тетя Шура, вареньица малиного? (В Антропшине малину

собирала, а малина в этом году посохла, мы с Райкой ходили – ничего не насобирали). А брат у меня бабник, но выпить-то самому хочется. Я и говорю: Зинка, ты иди домой, а то, говорю, мы за день уставши, вон делов сколько наделали, брату, говорю, отдыхать надо. Зинка говорит: что вы, тетя Шура, я когда трезвая, тихая, тут посижу – мешать не буду, вареньица вот с чайком, да что, тихо, по-родственному. – Тихая-то тихая, а а долго ли до греха, ты напиешься – нам с Райкой опять тащить, баба ты тяжелая, а Иван – мужик женатый, ты не смущай, иди домой, завтра лучше придешь – чайку попьем, я пирог испеку, а сейчас уставши мы. Зинка обиделась, пошла, говорит: не надо мне твоей водки, что я сама, говорит, купить не могу, не нищие мы. Пошла да и пропала, а вечером выхожу в огород – лежит Зинка на грядке пьяная, спит. Довольная такая. Чего только думает, скажи Христа ради.

1968

Вариант

Всю ночь его кусали клопы, жадные и противные.

Утром, едва вышел из дома, покусали осы.

За обедом, когда он ел сладкое, на него напали пчелы.

Вечером не было отбоя от комаров.

На следующий день утром его укусила собака.

В полдень его цапнула кошка, которой он наступил на хвост.

А вечером чуть не укусила змея.

Домой он уже боялся возвращаться и пошел к любовнице.

Но та в наплыве любовных чувств покусала его.

Терпение его наконец лопнуло, и он пошел к дантисту.

Запломбировал шесть зубов, два вырвал, на четырех поставил коронки.

Раньше пойти к зубному врачу он никак не решался.

1969

По дороге

Я приехал туда и стал искать нужный адрес. Мне говорили, что это недалеко, но вот кончились постройки, разошлись по сторонам люди, вышедшие вместе со мной из электрички, я шел один по лесному шоссе неизвестно куда. Дорога без конца поворачивала, каждый поворот мог быть последним, на что я и рассчитывал, но за мной осталось добрых три километра, а я все шел. Наконец, за очередным поворотом я увидел встречного мне человека. Он был в распахнутом пиджаке, с фотоаппаратом через голову, в руках держал полосатую палку. По виду палка была вырезана из ивы и непременно весной, когда под корой много соку и легко отделить тонкую полоску. Я решил спросить у него, правильно ли я иду, но едва открыл рот, как он меня опередил:

– Извините, у вас не найдется закурить?

– Нет, я не курю.

Человек с палкой передвинул фотоаппарат с живота параллельно поясу на бок, перекошил лицо и зашагал по дороге.

Лес, окружавший меня, был довольно странным. То тут, то там из-за деревьев прямо на дорогу выпирали заборы, сколоченные из штакетника, над деревьями поднимался дым. Вероятно, здесь окопались дачники. И в самом деле, скоро один из них предстал предо мною, отделившись от куста. Его белая майка почти потеряла свой первоначальный вид, особенно в местах наибольшего выделения пота, а ближе к животу, где дачник вытирал после еды руки, майка обрела цвет малины, помидора и красной смородины, пятна от коих не везде успели засохнуть. Такую майку нет смысла стирать, а коль скоро ты живешь в лесу, то лучше доносить до дыр и выбросить, хотя так будет слишком расточительно: из майки выйдет тряпка для мытья полов, оков, вытирания ног или прочистки дымохода. Но мне сразу пришлось усомниться в своих предположениях – дачник держал руки, скрестив на груди, и закрывал вырез майки, а в этом месте от постоянного лазанья под мышки, уже, наверное, были дыры, нет, дачник еще долго будет носить майку, даже дырявую.

Насколько позволяла майка, я невольно рассмотрел тело дачника, белое, веснушчатое, в родимых пятнах, тело человека, несклонного к загару, болезненно воспринимающего укусы комаров.

Штанами дачнику служили джинсы с заклепками за 4 рубля из магазина “Рабочая одежда”. Они были ему коротки, отчего открывались щиколотки ног (тут комары совсем не давали спуску – мало, что ноги дачника сплошь были покрыты волдырями, сгорая от зуда, он чесал их и расцарапал кожу до крови).

В довершение замечу – обут дачник был в кожаные тапки с рантами, столь любимые офицерами в отставке.

Я не случайно, описывая людей, попавшихся мне на дороге, останавливаюсь на их одежде. Ведь при взгляде на незнакомого человека мы первым делом замечаем, как он одет, какие при нем вещи, замечаем недостатки лица и фигуры и не успеваем сделать суждения о его характере (я же шел от долгой дороги понурый и вообще не поднимал головы, чтоб посмотреть в лицо). Вот и про дачника ничего больше не могу сказать, как и про трех пацанов, которые лежали в траве у дороги, оставив рядом велосипеды, кроме того, что это были три пацана с велосипедами.

Однако, я забежал вперед, поэтому вернусь ненадолго к дачнику. Отделившись от куста, он вышел на дорогу, снял тапок, ногой без помощи рук вытряхнул песок, не спеша надел и, только я поравнялся с ним, попросил закурить.

– Извините, забыл дома, – соврал я для убедительности, скажешь “не курю” – мало кто верит, жмот, мол, задавится, а не даст.

Дачник никак не отреагировал на отказ, разве почесал под мышками, думаю, просто так по привычке, безотносительно к “извините, забыл дома”, и исчез за тем же кустом, откуда вышел.

Пацаны действовали более нахально. Один из них подъехал на велосипеде: дядь, а дядь, дай закурить, жалко, да? Подъехал второй: дядь, а дядь... Они следовали за мной по обе стороны, то, колеся, заезжали вперед и неожиданно тормозили, мешая идти, то останавливались сзади, потом жали во все педали,

грозя наехать, и сворачивали уже в последнюю секунду. Я стал думать, что бы мне предпринять, но, к счастью, они столкнулись и упали на обочину дороги, а пока падали, на них успел наехать третий. Теперь пацанам было не до меня. Они вскочили и принялись колотить друг друга.

А что я могу сказать о двух женщинах, которых я догнал за поворотом, кроме того, что одна была выше другой. В данном случае я откажусь от описания их одежд, они ненадолго привлекают наше внимание, как фасады зданий, попробуем оценить, что скрыто за фасадом. (Если заколочен парадный вход, все знают – есть вход со двора). Ко всему у женщин обнажены несравненно большие части тела, что заставляет сразу перейти к главному.

У высокой были прямые бутылочные ноги, правда, слегка косолапые, отчего походка получалась ходульной, этому способствовал и непомерно высокий каблук босоножек. Другая была сколочена удачней, и на дороге, среди леса, да еще от скуки она выглядела совсем неплохо. Я поднял голову, впервые за весь путь, и разочаровался – лицо ее оказалось чуть ли не безобразным: нос – не приведи бог страшнее, от подбородка один лишь намек, губы – отвислые, заячьи. А у высокой, напротив, была смазливая мордочка блудницы. Будь моя воля, я поменял бы им лица. Мною давно замечено, что из двух женщин, за редким исключением, можно всегда сделать одну подходящую.

Женщины обрадовались моему появлению.

– Вот и наш попутчик, – сказала высокая.

– Добрый день, – сказал я.

– Вы куда идете?

Я сказал: вначале знал, куда иду, а сейчас сбился с дороги и не знаю.

– Мы туда же, – сказала другая, понижее.

– А у вас нет случайно сигареты?

– Нет.

– Жаль, эх, у нас там целая пачка.

– Где там?

– На даче. Пойдемте к нам.

Высокая, как бы невзначай, погладила меня по голове, другая действовала корпусом:

– Пойдем.

Успею заметить: женщины, когда над ними утерян контроль общества, могут быть весьма опасны, особенно на дороге среди леса.

Я очутился в тисках и уже не рассчитывал скоро из них выбраться. Осталось улучшить момент и рвануться вперед, тогда на ходулях-то меня не догонишь. Но едва я сделал попытку к бегству, как высокая хватала меня за руку:

– Куда ты, не спеши...

Все-таки я недаром родился в ночь под новый год и мне донельзя везет в последнее время, даже в високосный год и год повышенной активности солнца.

На полном газу на нас летел самосвал. Женщины растерялись – одна тянула меня к себе, другая – к себе, а я стоял, как вкопанный. По мне, чем так – лучше попасть под машину. Наконец, они отцепились и я, отскочив в сторону, что есть духу рванул по шоссе. Высокая скинула босоножки и с криком

пустилась в погоню. Но я недаром в школьные годы занимался в секции легкой атлетики. Это меня и спасло.

Как видите, трудно что-либо сказать о женщинах, случайно встреченных на дороге. Зато о старике, вынырнувшем из леса с корзиной грибов, я могу говорить определенно, ибо это собирательный, типичный образ для средне-русской мухоморной полосы. Дед был сухоньким и черствым, как засохший опенок, бабок или гриб-трутень, сморщенный, как кора на трухлявом пне, конопатый, как засиженный мухами чайник, ржаной, как обдирный хлеб, скрученный, как самокрутка, кургузый, как стручок, шуплый, как дырявый мешок, вредный, как застрявшая в горле скорлупка, вонючий, как прелая солома, помятый, как попавший под зад каргуз, хитрый, как малосольный огурчик.

– Как там насчет табачку? – спросил дед.

– Виноват, – говорю, – нету.

– Так ее так, – сказал дед, – своим обойдемся.

Достал трубку и задымил. Тут я его и видел.

Последним мне попался пьяный мужик. В его зубы была вставлена папироса, широко раскинув руки и ноги, он шел на меня и как бы пытался поймать.

– Слышь, ты, дай прикурить!

Это уже легче, когда просят не закурить, а прикурить. У меня не было выхода, и я что есть силы засветил мужику промеж глаз. Папироса сразу загорелась, а мужик сдвинулся с курса на 5 градусов, в самый раз, чтоб пропустить меня, и двинулся дальше. Когда я был далеко, услышал, как он загорланил какую-то очень знакомую песню.

1968

Обходя Инженерный замок

Сокращая путь к трамвайной остановке, я не стал обходить Инженерный замок за оградой, а пошел наискосок меж деревьев, где хозяева прогуливают по вечерам собак. И поскольку дело было вечером и я двигался странным силуэтом, собаки напали на меня. А ведь обходя кратчайшим путем Инженерный замок, я все же успел подумать “нападут собаки или нет”, но я не успел предпринять что-либо с целью предосторожности, потому что мысль моя загадочно сместилась в сторону.

Я вспомнил, что Дом писателя, по утверждению одного литератора, находится в бывшем особняке графа Шереметьева, а Большой дом расположен на месте Александровского централа, а поскольку граф Шереметев был начальником III-его отделения (явное заблуждение – начальником III-его отделения был Бенкендорф – на это указал другой литератор со странной немецкой фамилией, из-за которой имел массу неприятностей), то разумно предположить, что между особняком и Александровским централом был прорыт подземный ход. Тут же напрашивается резонный вопрос: а не сохранился ли он? Чепуха! – возражает другой литератор, – граф Бенкендорф жил совсем в другом месте. Я склонен больше верить второму литератору,

ибо он, составляя вместе с сыном историю домов своей улицы, привык опираться на сведения только достоверные и проверенные. Но вдруг моя мысль резко подскочила. Собаки преградили мне путь.

– Рэкс, нельзя! – кричал хозяин. Собаки, собаки, за что же вы на нас, литераторов, нападаете. – Извините, – извинялся хозяин, – вы очень похожи на человека, который украл у нас во дворе детский коврик, извините. И почему это я похож на этого человека. Неужели я когда-то воровал, или взял взаймы, или проиграл американку, как первый литератор, и не отдаю. А кстати, почему он, несмотря на все, утверждает, что подземный ход есть. Моя мысль возвращалась на кратчайший путь к трамвайной остановке.

Я вспомнил, как сегодня, по дороге в Детгиз, второй литератор сказал мне, что Детгиз расположен в бывшем особняке дочери Шереметьева, а прилегающий Дом писателя – особняк самого Шереметьева, и ни о каких Бенкендорфах не может быть речи. Желая уточнить вопрос до конца, он обратился к гардеробщице Детгиза, единственному человеку в издательстве, знающему французский язык, поэтому когда Шереметьева-младшая, с пятилетнего возраста пребывающая в эмиграции, навестила родные пенаты, никто, кроме гардеробщицы, не смог обсудить с ней современное состояние детской литературы.

– Альма, назад! – крикнул хозяин. Я испуганно оглянулся, но сзади никого не было. Наконец-то во мне пробудилась предосторожность и я почувствовал, что обходить Инженерный замок поздно вечером в нелюдном месте так же рискованно, как обходить цензурные рогатки. Однако я прогнал собак прочь из головы и вернулся к разговору со вторым литератором по дороге в Детгиз. Составляя с сыном историю домов своей улицы, он установил, что в их доме некогда жил один великий человек, вернее не он, а его прародительница, а великий человек часто навещал ее. Сын по несовершенству лет и неопытности написал об этом в газету. Через определенный срок пришел ответ: сидите себе – не рыпайтесь, сами обо всем знаем. Потом все-таки установили мемориальную доску, устранили историческую несправедливость, а некто Собакин, жилец квартиры, где раньше жил великий человек, вернее его прародительница, даже нагрел на этом деле руки – прибил на дверь медную дощечку сверх подобающих размеров: “Звонить только Собакину”. Вот так, экскурсовод приводит группу, показывает, и что видят изумленные экскурсанты? Там, где раньше жил великий человек, живет какой-то, извините за выражение, Собакин. Конфуз. Дали Собакину отдельную благоустроенную квартиру, историческая несправедливость была устранена до конца.

Но почему редактор Детгиза так круто обошелся со мной?

Я сел в трамвай, купил билет и уже с меньшим скепсисом соотносил меж собой явления действительности. Мне вспомнилась, старая балерина, знакомая по разговорам, которая после смерти мужа, решив выйти замуж второй раз, привела с собой к семейному очагу кошку Катю, а ее новый супруг, отставной полковник-артиллерист, который женился после смерти жены, привел шафтенпуделя. Говорят, они живут дружно и счастливо. Я смотрел в трамвайное окно и мне тоже было хорошо.

Послесловие.

После того как я прочитал рассказ первому литератору, он по-прежнему настаивал на своем. – Подземный ход, – сказал он, – существует, Бенкендорф жил в далекие времена Александра Сергеевича и никак не мог помешать Шереметьеву быть начальником III-его отделения. Я задумался и вскоре был готов принять его сторону. А ведь, правда, почему мысль о подземном ходе пришла мне именно тогда, когда я обходил Инженерный замок, от которого в свое время к Зимнему дворцу также был прорыт подземный ход, замок, где задушили подушкой Павла I-ого, не сумевшего воспользоваться этим подземным ходом. Теперь надо прочитать рассказ второму литератору. Что скажет он?

1968

Новоселье

К.К. Кузьминскому

Наконец, нас переселили из старого общежития, где когда-то, говорят, помещался не то публичный, не то доходный дом, в здание новой архитектуры, и я почувствовал, что переехал из прошлого века в век нынешний.

Наша комната сконструирована на троих. Квадратных, равно и кубических метров нам выделили в обрез, зато как обыграно пространство! Кровати с матрасом из поролона откидываются к стенке, как полки в экспрессе Москва – Йошкар-ола и других направлений. Тумбочка сжимается подобно мехам аккордеона и вдвигается в стену, шкаф с помощью остроумного устройства с шестернями прикрепляется к потолку, а стол, как парнокопытное животное, когда хочет лечь, поджимает под себя ноги и уравнивается с полом.

В первый день после вселения мы отметили день рождения одного из нас, все обошлось без эксцессов, но вот буквально через день все общежитие справляло новоселье.

Мы сидели втроем в аскетической компании, без женщин, как говорится, под “Дибонеем”.

А по этажам уже началось веселье. Наверху плясали что-то конструктивное с притопами и прихлопами. Это дурно подействовало на шкаф, шкаф не выдержал и, отвалившись от потолка, подмял приятеля, у которого недавно отмечали день рождения. Что с ним случилось, я так и не знаю, потому что был под “Дибонеем”. В полу шкаф проломил дыру сообразно своим габаритам, я хотел подползти и посмотреть, но второй приятель поймал меня за ногу и не пустил.

Не успели мы опомниться от шкафа, как слева проломила стена и в комнату влетела девица вместе с тумбочкой. “О! И у вас женщина!” – воскликнул приятель, но девица тут же вместе с тумбочкой свалилась в дыру.

Затем нервно задрожал потолок, и мы увидели стол с верхнего этажа. Он висел, свесив ноги, как парнокопытное животное в лямках при погрузке на паром.

Я долго смотрел на стол и не заметил, когда припечатало кроватью к стенке

моего последнего приятеля. Кровати вдруг стали подниматься и опускаться, точно экспресс Москва – Йошкар-ола разогнался по кривым рельсам..

Этажом ниже плясали тоже что-то конструктивное. Какой-то шустряк выпрыгнул сквозь дыру в нашу комнату и ударил головой в стол. Стол моментально исчез. Так вскакивает парнокопытное животное, стоит его боднуть в живот.

Больше я ничего не помню, потому что был под “Дибонеем” и уснул на полу, не сумев воспользоваться кроватью.

Каким же удивлением было для меня увидеть наутро, что все на своих местах, никаких следов новоселья, пол цел, потолок тоже и мы втроем лежим на кроватях.

1968

Просто Ложкин

Это кафе посещают поэты, литераторы, музыканты, все что-то пишут, о чем-то сообщают, а Ложкин тем и хорош, что просто Ложкин. Ложкин – человек. Ложкин и все. Был, правда, здесь еще Миша Плоткин, о котором думали, что он просто Плоткин, но оказалось, что он педераст. Сначала он это скрывал, но потом проболтался, что спал с поляком Спыхальским, и про немца из Франкфурта-на-Майне рассказал: “Представляете, я ложусь, а мой немец шепчет мне на ухо: будьте моим – я увезу вас во Франкфурт-на-Майне. Знаем вас мужиков, говорю, до Тулы довезете – там и бросите”. Потом Плоткин затосковал и лег в сумдом. Слил парень. Однако мы отвлеклись, ведь речь идет о Ложкине. С другой стороны, трудно, хотя бы вскользь, не упомянуть о людях из этого кафе, взять, к примеру, поэта Грифеля, сколько можно написать о нем, но лучше приходите в кафе сами, а пока вернемся к Ложкину.

Месяц назад он вдруг куда-то пропал. Все стали говорить: где Ложкин, куда девался Ложкин? А сегодня Ложкин пришел с перебинтованной рукой.

– Упал с пятого этажа, – объявил он, чтоб не переспрашивали.

Но всех интересовали подробности. Усадили Ложкина, налили коньяку, Ложкин выпил и рассказал свою историю.

История удивительно проста. В ту злополучную ночь он заночевал у одной женщины. “Не будем называть ее имени”, – сказал Ложкин. Все, разумеется, догадались, что эта женщина – Лидия Ивановна. Итак, муж ее был в отъезде. Но вдруг среди ночи – два коротких звонка. Ложкин уже бывал в подобных ситуациях. Однажды ему пришлось переспать меж оконных рам, в другой раз – на балконе под ящиком из-под “Булгартабака”. А сейчас, будучи от вина в сверхизумленном состоянии, он попробовал спуститься по пожарной лестнице, сорвался и полетел вниз. Спас Ложкина сугроб.

Едва он кончил говорить, сразу посыпались вопросы.

Успел ли Ложкин надеть штаны?

О чем думал, когда падал?

Каким местом упал?

Ну, конечно, Ложкин воткнулся в сугроб головой и задрогал ногами. Лидия

Ивановна выбросила вслед за ним пальто. Пальто удачно спланировало, и ноги Ложкина в аккурат пришлись к рукам. Выбежал дворник и ошел. Человек руками машет, а голова, как у зарезанного петуха, на земле валяется. Подошел: не голова – шапка. Отправил Ложкина в больницу.

С тех пор ему не давали проходу.

– Ложкин, будь добр, расскажи, как с пятого этажа упал.

– Ложкин, правда, ты с пятого этажа упал?

– Знакомьтесь, это Ложкин, он с пятого этажа упал.

Поначалу Ложкину это нравилось, но вскоре он почувствовал себя не в своей тарелке. Ложкин – просто Ложкин и, ему не надо лишнего внимания. Он стал настаивать, что с пятого этажа никогда не падал, просто приврал для интереса, с пятого этажа, если хотите, упал не он, а та женщина.

Ну, раз женщина – значит Лидия Ивановна.

Лидия Ивановна – трагической судьбы женщина. Дом сгорел, муж сел в тюрьму, сел потому, что хотел ее убить. Когда-то занималась в консерватории по классу фортепиано. Но на руке образовался мениск. В довершение всех бед села на электроплитку, а на вокзале сперли чемодан с нотами. Вышла замуж во второй раз, работает в госконцерте. Сольное пение, куплеты, пародии, декламация. Муж архитектор. Крайне невезучий человек, особенно по женской части. Первая жена, солистка балета, изменяла ему с кем попало. Он все же нашел способ ей отомстить. После развода построил в городском саду общественный туалет. Тремя годами раньше по тому же проекту была построена ее дача.

Лидия Ивановна редко бывала в кафе, тем не менее ее знали. Когда она приходила, Ложкин подсаживался к ней и просил: спойте что-нибудь, Лидия Ивановна, я буду плакать на эту тему.

Лидия Ивановна называла Ложкина мальчиком.

История Лидии Ивановны еще проще ложкинской. Среди ночи муж пришел домой с приятелем пьяный. Ложкина выгнали, а ее взяли за руки – за ноги, раскачали и выбросили в окно. Сели, распили бутылку вина, потом муж встал и сам пошел в милицию. Спустились вниз, ищут труп. Нету. Как выяснилось, Лидия Ивановна упала в ящик с цементом (во дворе что-то строили), встала, отряхнулась, подхватила Ложкина и пошла к нему на квартиру.

Ложкину никто не поверил, но поэт Грифель сказал, что на днях встретил Лидию Ивановну на улице с забинтованной рукой. – Что с вами, Лидия Ивановна? – спросил Грифель. – Да вот упала, – ответила она.

Теперь к Ложкину приставали с вопросом: Ложкин, а кто все-таки упал с пятого этажа? Так толком никто ничего и не узнал. Лидия Ивановна уехала на гастроли, да и Ложкин опять куда-то пропал. Говорят, лег в сумдом. Загрустил человек. А вскоре в кафе возник Миша Плоткин.

1968

И ты?

Федоров пришел к Егорову и сказал:

– Хули ж ты, Егоров? – и ушел.

Егоров ничего не успел сказать, но задумался и пошел к Фролову.

Пришел к Фролову и сказал:

– Хули ж ты, Фролов? – и ушел.

Тогда Фролов пошел к Григорьеву и сказал:

– Григорьев, хули ж ты, Григорьев?

Но уйти не успел, Григорьев ответил:

– А не хуя, пошел-ка ты на хуй.

Фролов задумался и пошел к Егорову.

Пришел и сказал:

– Егоров, пошел-ка ты на хуй, – и ушел.

Егоров тут же пошел к Федорову и сказал:

– Федоров, пошел-ка ты на хуй, Федоров.

Федоров ничего не ответил и пошел к Григорьеву:

– Григорьев, пошел ты на хуй, Григорьев.

Но Григорьев сказал:

– Федоров, и ты, Федоров, хули ж ты Федоров?

1968

Ченьч

Григорию Ковалеву

– Ай-я-яй, что ты делаешь?

– Рыбу ловлю.

– Вижу, что ловишь, а на что ловишь?

– На уху.

– Да я не о том, на что, говорю, ловишь?

– На червя.

– Поймал?

– Нет.

– И не поймаешь.

– Почему?

– На червя рыба давно не клюет.

– А на что клюет?

– На муху. Вот насади – посмотришь.

– Чего смотреть, мухи-то у меня нет.

– Поймай.

– Ну да, так ее и поймаешь.

– Что, не знаешь как поймать?

– Не знаю.

– Как же ты хочешь ловить рыбу, если не можешь поймать муху? Слушай, я тебя научу: возьми блюдце, налей в него меду и поставь, вот и все, за совет – самая большая рыба мне.

– А где я меду возьму?

– Купи.

– Денег нет.

– Возьми займы.

- У кого?
- Хотя бы у меня.
- А ты дашь?
- Что за разговор, конечно.
- Тогда спасибо.
- Пожалуйста, хотя нет, я лучше куплю мед сам, а ты отдашь мне за него какую-нибудь вещь, ну, допустим, зажигалку, у тебя есть зажигалка?
- Нет.
- Портсигара, наверное, тоже нет?
- Да.
- И шариковой ручки нет?
- Есть.
- Четырехцветная?
- Двух.
- Нет, не подойдет, а ты сам-то откуда?
- Здешний.
- Здешний? Почему-то я тебя никогда не видел?
- Не знаю.
- Странно, на какой же ты улице живешь?
- Тут – сразу за мостом.
- Сосед значит.
- Значит.
- Чего же, скажи мне, взять у тебя, сосед? Карманный фонарик есть?
- Без батареек.
- Китайский?
- Да.
- Хорошо, батарейки я устрою, один знакомый продает, совсем даже не дорого.
- Но я ведь говорил: денег у меня нет.
- Не обязательно деньги, достань ему губную гармошку – он тебе так отдаст.
- Губную гармошку я бы и сам хотел.
- Тогда достань импортное лекарство, забыл какое – спросим.
- В том-то и дело: какое.
- Достанешь?
- Не знаю.
- Давай, все будет, как надо. Отдадим лекарство – получим гармошку, за гармошку возьмем батарейки, батарейки вставишь в фонарик, за фонарик я отдаю тебе баночку меда, тыловишь мух и вся рыба твоя. Идет?
- Не знаю.
- Почему не знаешь?
- Нет у меня связей.
- А что у тебя есть, все нет да нет, давно ты здесь живешь?
- Как родился.
- Странно, давно живет, а ничего нет, здесь так не принято, слушай, я придумал, найди ты перочинный нож с вилкой и ложкой, понял?
- Понял, такой у брата есть.

- Вот и хорошо.
- Да он мне не даст.
- Почему?
- Скажет – самому нужен.
- А кто твой брат?
- На трубе играет.
- Музыку, выходит, любит?
- Выходит.
- Вот мы и дадим ему какую-нибудь редкую пластинку.
- Но ведь ее тоже надо достать.
- Надо. Что ты и сделаешь, у тебя марки есть?
- Какие марки?
- Почтовые, конечно, не западногерманские.
- Марок нет.
- А значки?
- Кажется, есть.
- Довоенные?
- Да, “Отличный стрелок” и “Отличный тракторист” и еще что-то.
- Наконец-то. Смотри: значки мы поменяем на марки, марки на пластинку, пластинку на перочинный ножик, за ножик возьмем лекарство, за лекарство – гармошку, за гармошку – батарейки, ты отдаешь мне батарейки и берешь баночку меда, согласен?
- Согласен.
- Тогда пошли.
- Куда?
- За значками.
- Сейчас, подожди.
- А чего, собственно, ждать?
- Клюет!
- Где клюет?
- Там.
- Да это стрекоза поплавок задела.
- Нет клюет.
- Тащи!
- Пусть заглотит.
- Тащи, говорю, уйдет.
- Вот видишь, а ты говорил, на червя не берет.
- Это какая-то дурная.
- Почему?
- Заплыла из другого водоема, здешняя не клюет, забирай рыбу и пойдем.
- Нет, я, пожалуй, не буду.
- Как не будешь?
- Да так.
- Имей совесть, я тут битый час с ним вожусь, а он не будет.
- Извини, я лучше без меда.

– Ну смотри, мое дело – предложить, потом пожалеешь, да будет поздно, лови на здоровье, только сбегал бы соли принес, а то протухнет.

1969

Книга

Я уснул с женщиной, а проснулся с книгой. Когда я засыпал, она читала. Говорят, что интересная женщина, как зачитанная книга. Женщина – бестселлер. Это не так. Каждая женщина – это недочитанная книга. Впрочем, не знаю. Читаю я мало и, в основном, классику. А разве это не зачитанная литература? Для современников она была любовницей, для нас законная жена. Вот и женщина, поди ж прочти ее до конца. Мне кажется, я начинаю понимать людей, которые покупают дорогие книги и, не читая, ставят на полку.

Я вынул книгу из-под себя. Скажи, что ты читаешь... Она читала Платона, том 2, издательство “Мысль”, страница 71. Умная женщина, подумал я, и принялся за чтение... Когда я проснулся во второй раз, то был все на той же 71 странице. Конечно, чтение – лучший способ уснуть, но отнести Платона к разряду таких книг не смог бы даже я. Просто Платон оказался не к месту. Это все равно, если у вас две любовницы, одна блондинка, другая брюнетка или у них есть какие-то другие отличительные признаки, как угодно, вы пошли на свидание с одной, а другая попалась случайно навстречу, и вы не можете от нее отделаться. Мой мозг излучал другие биотоки, желудок выделял другой желудочный сок. Все же я опять взял книгу и тотчас услышал:

– Вставай, хватит читать, завтрак готов. Это был голос жены, она и есть та женщина, непостижимая, как классическая литература.

1969

Фырин

Фырина несправедливо называют лежебокой, Фырин предпочитает лежать на спине. Лежать – сделалось его основным занятием, и постепенно он отстранился от прочих дел. Но человек не может лежать просто так, без пользы для общества, поэтому Фырин вынужден был поступить на работу. Взяли его в артель, выпускающую раскладушки.

Работа была – не бей лежачего. Фырин проводил государственные испытания: ложился на раскладушку и, если та выдерживала, ОТК ставил печать. Незаметно Фырин втянулся в работу и даже модернизировал процесс. Чтобы не вставать каждый раз с раскладушки, он давал кому-нибудь на пиво, и его переключивали с одной раскладушки на другую. Но от лежачей работы Фырин до того раздобрел, что под его весом раскладушки стали ломаться. В работе пошел брак. Фырина вынесли выговор, оставили до первого предупреждения, а после уволили.

Полгода пролежал Фырин без работы, пока не устроился в спортклуб ДОСААФ, где слушатели курса ПВО проходили практику. По сигналу ложной

тревоги его клали на носилки и тащили в бомбоубежище. Там Фырина делали искусственное дыхание: сначала военрук для наглядности влезал на живот, потом вся группа повторяла упражнение. Этот эксперимент “пострадавший” переносил спокойно, хуже было, когда накладывали шину и забинтовывали с ног до головы. Фырин терпеть не мог шекотки.

Так Фырин постигал службу, но волей случая дело дальше первого аванса не пошло. Однажды два хилых сопляка в противогазах его очень больно уронили. Фырин обиделся и подал заявление об уходе. На память о спортклубе остался билет автоматолотереи ДОСААФ, который ничего не выиграл, приколотый булавкой к стене над кроватью.

И вот Фырин опять без дела. Найти работу по специальности трудно, а терять квалификацию не хочет. Ближние посмеиваются над ним, но больше из зависти. С тоски Фырин даже похудел, чего доброго и пропадет человек. А жаль.

1967

Что-то

Желания бывают самые странные. Бывает, вдруг захочется стать черным, как негр, и играть на трубе.

Или стать носорогом, потом разбежаться, воткнуться в витрину галантерейного магазина и все там порушить.

Или опять стать негром, сидеть, скрестив ноги, под пальмой и есть кокосовый орех.

А почему бы не стать жирафом, чтобы незаметно подойти к забору, ограждающему женский солярий, и наблюдать?

Нет, все же лучше стать негром, специально стать негром - сексуальным разбойником, почему бы и нет?..

Идешь по улице, и такая вертушка вертится в голове. Но вдруг: дзинь-дзинь – тонкий стук металла об асфальт. И снова: дзинь.

Из толпы выделяется слепой, он идет навстречу по краю тротуара, палкой прощупывая дорогу.

Вертушка вмиг останавливается. Качнулась вперед, назад – стоп. Желания вмиг становятся простыми и понятными: идти по улице, смотреть – и все.

1967

Камень

Дом стоял у леса. От изгороди к лесу протоптали тропинку, но мальчику не позволяли одному бывать в лесу, и он ходил только до того места, где тропинка пропадала за широкими лапами елок. У тропинки в траве белел валун, мальчик садился, согнав ящерицу, которая грелась на солнце. Жужжал шмель, под его тяжестью прогибались стебли цветов. Шмель, занятый усердно работой, часто с налету ударялся о голову мальчика и сердито падал в траву. Трудяга муравей тащил длинную соломинку, если вставить эту соломинку кузнечнику в рот, получится будто кузнечик курит. Мальчик сидел, пока его не зазывали домой.

И вот как-то, придя сюда вечером, он обнаружил, что камень исчез. Из вмятины на земле желтела худосочная трава, выросшая без солнца, в ячейках шевелились жуки. Мальчик не мог понять, куда девался камень, кто мог перетащить такую махину, и ему стало страшно. А что, если так же исчезнет их дом, рухнет крыша, и среди развалин будет торчать обугленная печная труба, повалится колодезный журавль, а колодец засыпется землей. И он во все лопатки побежал назад.

Дом стоял на месте, по случаю субботы топили баню, и ветром относило в сторону сизый дымок. На изгороди, хлопая крыльями, кричал петух, в навозе рылись куры.

Назавтра по привычке мальчик пошел к валуну. Валун, как прежде, белел в траве. Ящерица, сощутив глаз, внимательно следила за мальчиком, слезать с камня не хотелось, и она ждала, когда он подойдет ближе. Мальчик догадался, что вчера у развилки ошибся тропинкой, что камень никто не трогал. Но почему там в земле была большая вмятина, точно недавно убрали камень?

1967

Турнир

Деревня растянулась вдоль шоссе. В деревне был один участковый милиционер и одна парикмахерская. Народ тут жил спокойный, не хулиганил, не озорничал, и за последние годы всего однажды потребовалось вмешательство милиционера – один мужик застал свою жену с любовником, мужик был здоровый, крепкий, затащил их обоих в конюшню, привязал к стойлу и высек.

Парикмахеру тоже было не развернуться, особенно в летнее время, когда в поле шли работы. Да и вообще мужики были не охочи до услуг парикмахера: сторож из магазина съездил в город и купил себе машинку, а кое-кто, как говорили, косой бреется.

Милиционер по утрам заходил к парикмахеру, по дружбе брился бесплатно, только за одекolon приходилось платить, так как за одекolon нужно отчитываться. Потом они выходили на улицу, садились на деревянную лавку у самого шоссе и играли в шахматы. Игра шла с переменным успехом. Милиционер превосходил парикмахера в тактике, зато парикмахер ставил милиционера в тупик неожиданными комбинационными поворотами. Часто за доской они забывали про обед, тогда жена парикмахера приносила им бутерброды и квасу в чайнике.

Вечером милиционер намекал парикмахеру, что не мешало бы ему подправить виски, почему парикмахер принимался править бритву о широкий ремень и точить ножницы. После стрижки заведение закрывалось, милиционер заводил мотоцикл, парикмахер устраивался с удочками на багажнике, и они отправлялись на вечерний клев.

Все шло своим чередом, но вот однажды равномерное течение жизни было нарушено – по дороге на речку парикмахера укусил энцефалитный клещ. Просто взял и стряхнулся с ветки, человека в мундире тронуть не посмел, а парикмахера укусил.

Три месяца, пока парикмахер валялся в постели, милиционер играл в шах-

маты сам с собой, разучивая новые варианты, и хотя нехорошо подстраивать козни больному, но втайне милиционер надеялся, что потренируется и будет легко обыгрывать парикмахера. Но парикмахер тоже не терял времени зря, едва ему полегчало, нашел партнера, больничного истопника, и тем самым сохранил спортивную форму.

Теперь они снова сидят у шоссе и играют, счет партий за минувший месяц 77 : 76 в пользу милиционера, но парикмахер рассчитывает взять реванш.

1966

Рассказ с лирическими отступлениями

Мотоцикл – это вещь. Посредством которой можно передвигаться. От деревни Сухановка до деревни Стадухино. Захочешь – зарулишь в Бобровку к доярке Зинке. Зинка – она баба своя. На мотоцикле жуть как любит кататься.

У Федыки рубаха красная. В полоску. У Зинки юбка синяя. Только полоски не вдоль, а поперек.

Сядет Зинка на заднее сидение. Обнимет Федыку. Зажмет коленками. Сделает коробочку. Коробка скоростей клацает. Мотоцикл фыркает. Пыль колесом. Юбка парашютом. Спиц не сосчитать. Ух!

Поля – в полоску. Леса – в полоску. Дорога полосатая. А жизнь какая?

Шньряют крысы вдоль забора,
Лягушки квакают в кустах,
Вся речка в тине и заторах,
А я лежу, свищу в кулак.

У речки Шиловка Федыка затормозил. На мосту дед Евсей удил ершей.

– Ну, как, дед, клюет?

Дед посмотрел на Зинкины ноги, трехобхватный зад (задок-то, задок, еще передок – и телега).

– Ничего, можно, – сказал дед.

А у Федыки мотоцикл.

По камышам прошло шуршанье,
Граблями ветер чешет воду.
В зубах соломинка застряла,
К ногтям присохли огороды.

Потом пошли покосы. Копны, стога.

Сено пахнет пыреем, молочаем, резедой, да разве унохаешь все запахи лета? Как пахнет сено! А как пахнет Зинка в сене!

Зарылись в стог.

– Ты чего меня за грудь хватаешь? – говорит Зинка.

– Божью коровку поймал, – говорит Федыка.

Стог колышется. Мотоцикл стоит, ржавеет. Стога обступили мотоцикл. Много стогов. Они ползут в гору. И за горой – до деревни Бобровка. А в Бобровке бабы – самый сок. Не то, что в Сухановке и в Стадухино. Одни клизмы.

Сено пахнет. Птички порхают. Лежи и нюхай. Вставать не хочется. Но надо. Завтра с утра Федыке на трактор, Зинке на ферму.

Возвращались за полночь. Грохот мотоцикла пробарабанил по храпящим избам. У соседа Ефима в сенях моргал свет. Ефим стоял на крыльце в кальсонах. Справлял нужду.

– Который час, Федор?

– Полтретьего.

– Ах, мать твою размать, а у меня еще жена не е... езжай ты, Федька, хватит тарахтеть, спать мешаешь.

Через минуту все стихло. Ночь расплзлась по чердакам, только за сараем сверчал сверчок. Да сопела корова, пережевывая жвачку.

1965

Диалоги

– Здравствуйте, Александр Сергеевич!

– Здравствуйте, Николай Васильевич!

Он был Пушкин, другой был Гоголь, тот сказал:

– Что нового?

– Так, ничего.

– Как здоровье?

– Слава Богу.

– Пишете?

– Где уж там, не до этого.

– Здравствуйте, Лев Николаевич.

– Здравствуйте, Антон Петрович.

Он был Толстой, тот был Чехов, тот спросил:

– Что слышно?

– А что может быть слышно, извиняюсь, Антон Павлович? Ничего.

– Не хвораете?

– Покамест нет, Антон Петрович.

– Пишете?

– Стараюсь, дорогой, стараюсь.

– Здравствуйте, Федор Михайлович.

– Мое вам почтение, здрасте.

Он был Достоевский, тот был неизвестный, тот сказал:

– Какие новости, Федор Михайлович?

– Можно сказать никаких.

– Как поживаете?

– По-старому.

– Пишете?

– А зачем, кому это нужно.

1969

Утро и вечер

Тихо с утра в поселке. Пусто на дороге. У дороги стоят дома, солнце высветляет асфальт, слепит глаза, и нет разницы – смотреть ли на асфальт или на

солнце. А за поселком песчаная, щебняная, глинистая дорога идет в гору и на закате, кажется, навсегда скрывается за горой, и тянет пойти туда за гору, ведь здесь потухнет солнце, умрет день, а там жизнь будет продолжаться. Но быстро сгорает закат, и прохладный вечер возвращает в дом, где тепло и где надо жить. А по утрам дорога спускается вниз с горы, и по дороге приходят люди купить в магазине хлеб, набирают полные сумки и уходят обратно.

Тихо с утра в поселке. Кому рано по делам или в отъезд – уже встал и уехал. Остальные спят. Посреди дороги лежит пес. Сегодня на море шторм и хозяин не пошел в ночь ловить рыбу. Пес скучает. Как и все собаки в поселке, он – безродный дворняга. А тут есть собаки самых причудливых помесей: с лисьим хвостом, мордой шакала, шерстью камышового кота. Зачастую бездомные зачуханные шкулы, живущие на свалке. Жизнь так потрепала их, что будь они даже чистой породы, об этом теперь никто не смог бы подумать. Такие собаки почти никогда не лают, людей опасаются, и если просят, то не виляют хвостом, а виновато смотрят в глаза. Поздно вечером, когда в поселке появляется чужой человек и цепные псы поднимают лай, они осмеливаются тихонько подлаивать со стороны. Но у нашего пса есть хозяин, и он всегда берет его на причал, там пес смиренно лежит, не мешает, пока не поймают большую рыбу, тогда уж прыгает и радуется вместе с хозяином.

Но сегодня шторм, и пес скучает. Он лежит, вытянув передние лапы, и одним глазом наблюдает за большущим муравьем, который ползет на него. Пес охотно бы прищелкнул муравья зубами, чтобы не забивался, паразит, под шерсть, не кусал, да муравей ползет на приличном расстоянии, псу лень вставать, и он выжидает. Муравей вовремя свернул в сторону и уполз по своим делам.

Теперь бы закрыть второй глаз и покемарить. Так лучше, чем без толку смотреть на дорогу. Пес знает, что дорога спускается с горы, что по дороге приходят люди, но он не знает, что дорога уходит далеко за гору, его жизнь ограничена поселком, двором и причалом. Пес любит, когда на дороге люди.

Едва он опустил морду на лапы и всерьез собрался вздремнуть, как из-под самого уха вылетела бабочка-капустница. Такого нахальства, конечно же, простить нельзя. Мало муравья, а тут еще бабочка. И, злой на бабочку, муравья и на себя за то, что лень было прищелкнуть муравья, он вскочил с места, а бабочка, дура, как заяц, поднятый среди ночи в поле трактором, лупанула по прямой, и пес, громко лая, побежал за ней на край поселка. Разбудил всех, бабочку не догнал, и как назло на бегу столкнулся с осой. Оса привязалась к нему, норовит ужалить в нос. Пес осклабился, прыгает, вертится, рычит – ух! С осой замешкался и не увидел, что по дороге едет трактор. Оса сразу куда-то исчезла, а пес чуть не попал под колеса. Тут он, совсем злой, побежал за трактором, еще громче лая, последний раз в это утро. На дорогу стали выходить люди. Начинался день.

1967

Полет шмеля

Диктор открыл рот, и изо рта у него вылетел шмель.

– Римский-Корсаков “Полет шмеля”, – объявил диктор. – Исполняет струнный квартет государственной филармонии.

Шмель покружил над плешивыми затылками исполнителей и полетел в поле. В поле шла косовица хлебов. Художник Шишкин писал свою знаменитую картину “Полдень в Подмоскowie”. С него градом лил пот, рубаха прилипла к телу.

– Сегодня в Москве и московской области температура плюс 41°, – сообщил диктор из-за кадра.

Шишкин вытер лоб и занес кисть для очередного мазка, но в это время шмель воткнулся в его бороду.

– Тьфу ты, – возмутился Шишкин и замахал руками. Мазок вместо поля попал в небо. А шмель не улетал, он стал кружить возле уха, жужжа во всю мощь струнного квартета. Тогда Шишкин запустил в него свою любимую колонковую кисточку, которой детально выписывал все картины. Потом он швырнул вторую, третью, наконец, у него осталась одна большая щетинная кисть, ей он кое-как докрасил холст, сложил мольберт и побежал с поля.

Бежит Шишкин, бежит, а шмель – за ним. Вдруг навстречу по дороге едет на велосипеде поэт Сергей Есенин.

– Гей ты, Русь моя, родина кроткая, – прочитал диктор за кадром.

– Сережка, выручай, – крикнул Шишкин.

– Подожди, сейчас вернусь, взял у Толстого на пять минут прокатиться.

Шмель было погнался за Есениным, но тот летел быстрее ветра, тогда шмель развернулся и опять за Шишкиным.

Шишкин бежал, бежал, и сапоги на дороге бросил, и мольберт с картиной, и упал три раза, и, как мог, выругался. Тут видит – у дороги под копной сидит Лев Толстой.

– Лев Николаевич, спасите, дорогой...

Толстой встал, погладил бороду, снял панаму, прыгнул и накрыл шмеля.

Тут и Есенин подъехал с холстом:

– Хороший пейзаж получился, Иван Иванович, зачем бросаете?

Толстой зажал шмеля между большим и указательным пальцем. “Дзынь, дзынь”, – пропищал шмель и умолк.

Действительно, “Полдень в Подмоскowie” – лучшая вещь пейзажиста Шишкина, в ней нет излишнего натурализма, свойственного его манере.

Диктор объявил:

– Мы передавали концерт по программе, составленной нашим постоянным телезрителем Виктором Кривулиным. Всего доброго.

Я пожалел, что включил телевизор в самом конце, так оно всегда и получается, когда хорошая программа, никогда толком не посмотришь.

1967

Кошки

Когда обнаружили, что страшную эпидемию, охватившую город, разносят кошки, стали принимать срочные меры. Поначалу поручили дело “Обществу Красного Креста и Красного Полумесяца”, но эта организация, оказывающая постоянную помощь народам слаборазвитых стран, ничего не могла поделать с местными неполадками из-за нехватки кадров, и всю работу горсовет препоручил домовым комитетам. Теперь для пользы дела решили применить маге-

риальный стимул и за каждую пойманную кошку выдавать по два с полтиной. Но кто станет пачкать руки, размениваться по мелочам. Кампания, казалось, должна была неминуемо провалиться. Но вот нашелся один предприимчивый человек, который сообразил, что делу можно придать иной ход. Зачем лазать по грязным дворам, ловить бездомных кошек, не проще ли завести их у себя, допустим с дюжину, и, учитывая кошачью плодовитость, за год можно иметь неплохую выручку, а для окончательного подсчета следует учесть премии, выдаваемые после каждой десятой кошки.

Как показывает история, гениальные идеи редко приходят на ум одному человеку. Кошек развели столько, что за их деторождаемостью был утерян всякий контроль, вдобавок, кошки сбегали от хозяев и на чердаках и в подвалах плодились уже без плана со звериной жадностью. В короткий срок они оккупировали город, сожрали все припасы продовольствия, разгравив самые надежные хранилища, при этом широко использовали свою сноровку карабкаться по стенам. Их пробовали топить, но кошки научились плавать. Не дали скольконибудь ощутимых результатов нагрудные значки и медали, вручаемые особо отличившимся. Кошки перебежали дорогу, и людей подстерегали все новые неприятности.

Милиция была полностью парализована. И только когда из области прибыл воинский гарнизон, кошки отступили. Куда они исчезли – никто не знает.

С тех пор в городе нет кошек и попытка их развести ни к чему не приводит – кошки дохнут. А потребность в них особенно сказывается в последнее время, так как город заполонили крысы. Горсовет повел новую кампанию, чем она закончится, пока не известно. Кампания только началась.

1968

Портрет

Она была наездницей и любовницей клоуна. Он был художником, писал в цирке афиши и ревновал ее. Чтобы ей отомстить, он решил поставить на арене петлю: лошадь споткнется – упадет наездница. Но он не сделал этого. Пошел к знакомому химику и заказал краски, которые никогда не высыхают, издают аромат и приятны на вкус. Этими красками написал портрет наездницы и отнес на выставку. Зрители, восхищаясь, нюхали, трогали руками, даже облизывали. К закрытию выставки в раме остался чистый холст. Художник думал, что расправился с проклятой наездницей. Но он любил ее. На этом же холсте другими красками он заново написал портрет и спрятал в чулан.

В цирке сменили программу. Клоун с наездницей, казалось, навсегда уехали гастролировать по городам.

Минило много лет, прежде чем художник увидел их снова. Клоун переквалифицировался в музыкального эксцентрика, трюки его уже всем надоели, а новых он или не мог придумать, или попросту был стар. Наездница работала его ассистенткой. От прежней красоты ничего не осталось, и художник едва узнал ее. Придя домой, он достал из чулана портрет, вытер пыль и, повесив портрет на стене, больше не снимал.

1967

От двенадцати до часу

В этой комнате четыре кровати. Нас четверо. Сегодня я устал и рано заснул. Трое пришли позже. Включили свет. Началась трепотня. Как всегда о бабах. Электрический свет колет мне глаза. По телу растекается большое желтое пятно. Я хочу спать. Я сжимаюсь и стискиваю руки между колен. Говорит Юрка. Он перебирает женщин, прежних, теперешних. Подробно смакует каждую. Я слышу его голос. Слышу, о чем он говорит. Но я хочу спать. Все проходит мимо меня. Я сплю... Таня, Таня, Таня... Опять Таня. Мой слух обостряется. “Смачная баба, – говорит Юрка. – Никого так не жарил. Другая, хоть бы что, обмякнет, как студень, а эта вся аж горит. Редкая баба”.

Мне становится муторно. Я тону в помоях. Голову едят черви. Таня, Таня, я не знал, Таня. Сейчас я встану и подойду к нему. Я пытаюсь подняться. Хватаюсь рукой за спинку кровати, за вторую. Я встаю. Подхожу. “Скажи, гад, какая Таня? Скажи”. Но нет, я лежу. Голова опухла. Я сплю.

“Редкая баба, – говорит Юрка. – И не то, чтобы дуриха. Учится на филологическом”. Опять я встаю. Пружинят руки. Я плыву по комнате, растекаюсь облаком до двери. Возвращаюсь обратно. Он говорит, говорит... Я бужу себя. Сейчас я встану. Вот я встаю. Встал. Подхожу к Юрке “Скажи...”. Исчезает Юрка. Я лежу...

Наконец я встряхиваюсь. Разламывается чаша, рассеивается облако. Он говорит. Слова достигают меня. Ее зовут не Таня, а Алла. Занимается на филологическом. Познакомился он с ней в автобусе. Утром. “Вы пробовали когда-нибудь заклеить бабу утром? Все спешат. Кто недоспал, кто переспал. Всем на все наплевать. А я заклеил. Редкая баба. Никого так не жарил”, – говорит Юрка.

Забурись ты в доску. Я хочу спать. Я переворачиваюсь на другой бок, сжимаюсь и стискиваю руки между колен. По телу ползут жуки. Жужжат осы. Я растекаюсь, плыву по комнате...

1967

Прототип

Дверь скрипнула, и в черный проем просунулась голова под черной фуражкой. Это был пожилой еврей с кривым носом, в роговых очках – на манер таких типов в газетах рисуют карикатуры на американских конгрессменов. Его мятое лицо, в бороздах, – а если рассмотреть ближе, то можно, наверное, увидеть крупные поры кожи, закупоренные сальными отложениями, – его быстрый, уклончивый взгляд напоминали мошенника из польских кинофильмов, специалиста по обмену польских злых на американские доллары, английские фунты и западногерманские марки; дважды он чуть было не накрылся, а в молодости имел интимную связь с женой местного прокурора, участника варшавского восстания 1944 года. Однако, фуражка еврея, с намеком на картуз, закрывающая почти весь лоб, и сутулая спина выгнали из памяти засевшую там с детства фигуру старьевщика, торговавшего на барахолке всяким хламом. На голове у него всегда были надеты одна на другую несколько фетровых шляп – серых, черных, коричневых, отчего лоб попадал в тень, и для полной рекламы с обшарпанного патефона густо хрипел фокстрот “Рио-Рита”, блюз “Последний поцелуй” на обратной стороне пластинки

старьевщик не любил. Но в конце концов я подумал: пожалуй еврей больше всего похож на агента горгаза, который однажды пришел и сообщил, что у нас отключают газ, дал адрес, куда идти жаловаться (улица Разъезжая, 3/4, 2-ой этаж, прямо по коридору, комната 117).

Дверь распахнулась, я был уже рядом с ним. Он шамкал губами, пересчитывая сдачу, пытался засунуть портмоне во внутренний карман, не попадал и долго ворчал. В левой руке он держал календарь-численник. “Кстати, какой сегодня день?” – подумал я.

1967

Правописание

Безверие – бескультурие,
безбожие – бесплодие,
безлюдье – бесстрашие,
безвкусица – бессилие,
бездорожье – бесправие,
безвременье – бесславие,
безвыездность – беспомощность,
безвыходность – беспросветность,
бездарность – бестактность,
безграмотность – бессмысленность,
безгласность – бесстыдство,
беззаконие – бесчинство,
безликость – бесцветность,
безденежье – бесчестие,
безнаказанность – беспутство,
безволие – бесцеремонность,
бездушие – бессердечие,
безумство – бессловесность,
беззащитность – бесцельность,
безнадежность – бесполезность,
безрассудство – беспечность.

Перечисленные примеры убедительно подтверждают, что перед звонкими согласными пишется “без”, а перед глухими – “бес”.

1969

Попутчик

К железнодорожному полотну подошел человек. Было так темно, что я не смог разглядеть его лица, редкие фонари едва освещали рельсы, они только и были видны в темноте. Мне предстояло пройти по шпалам больше километра, и было страшновато подумать, что по пятам за мной будет кто-то идти. Бог знает, что это за человек, с какими он мыслями. Я подождал и пропустил его вперед. Он шел не спеша. Порой мне казалось, что он останавливается и под-

жидает меня. Я замедлял шаг. Но он не останавливался. Порой мне казалось – он оглядывается, и я вижу злое, перекошенное лицо с горящими глазами. Но человек не оглядывался. Он свернул с насыпи недалеко от того места, куда я шел. Здесь были частные огороды. Я слышал, как щелкнул замок, как скрипнула калитка. И что ему надо здесь ночью? Утром стало известно, на участке у железной дороги повесился человек.

1969

Плешь

Сегодня передо мной на улице очень долго маячил человек, я внимательно смотрел на его плешивую голову и размышлял. И по ходу размышлений пришел к выводу, что в моем мироощущении произошел определенный сдвиг. Прежде вид плешивой головы вызывал во мне ироническую улыбку и поощрял, как принято говорить, нездоровую фантазию.

Плешь – это аэродром для мух, кузнечиков, стрекоз. Пчела, муха, оса – это учебно-тренировочные Яки, комар – планер, стрекоза – У-2, “кукурузник” или “этажерка”, шмель и шершень – турбовинтовой самолет, майский жук – реактивный. В подражании кузнечнику пока ничего не изобрели, пусть будет кузнечик вертолетом.

На плешь можно удачно плюнуть с десятого этажа. Представляете: в пустом дворе вдруг раздается звонкий шлепок. Вы сидите, заняты делом, но вдруг вздрогнули – что-то произошло. Выглядываете в окно и видите – по двору идет плешивая голова, все хорошо, ничего страшного.

Плешь – поляна, дупла от волос – ямы выкорчеванных деревьев. Собрав грибы и ягоды, на поляне можно отдохнуть, позавтракать, выпить стаканчик вина. А потом пойти в лес на охоту. В лесу дичь и дикие звери, самый страшный – вошь. Помню, сразу после войны на улице ко мне подошел плешивый человек и попросил расческу. Тут же он разложил газету и стал чесать свои оставшиеся волосы. На газету посыпались вши. Их было не меньше, чем букв в газете.

А как ослепительно блестит плешь. Вернее – то не плешь, что не блестит. Можно побриться, глядя в натуральное зеркало своего приятеля. Можно пускать солнечных зайчиков знакомой на десятом этаже. Ведь плевок, звучно упавший на голову, – не что иное, как козни конкурента из соседней квартиры.

Но теперь я смотрел на оголенный череп идущего предо мной человека, и мне представлялось иное.

Я вспомнил гололедицу, ветреный зимний день. Я поскользнулся и со всего маху ударился затылком. Долго лежал, казалось – не встану. Потом во сне я падал еще много раз, всегда затылком, всегда больно.

Плешь – это заснеженное поле, которое трудно перейти. Метель, дороги нет, в лесу воют волки. День короткий, надо успеть, но ни транспорта, ни попутчика. Такие картины тоже часто появляются во сне, и, к счастью, в самый критический момент, когда нужно решать, что делать, сон кончается.

Плешь – это знойная пустыня, где мечтают о глотке воды; и море, которое мерещится за лобными буграми, – всего лишь мираж. Здесь нет жизни, сюда

ссылают заключенных на работу в урановых рудниках, иногда сюда попадают колониальные войска, но тут же мрут от чумы или гепатита.

Передо мной одно за другим промелькнули разрушительные зрелища: ураган, вырывающий с корнями деревья, смерч, уносящий все столбом к небу, затем послышался рев бульдозеров, взрывы – прокладывали просеку, горел лес.

И вдруг мне представилось: плешь – это огромное бельмо во весь глаз, редкие волосы по краям – ресницы.

У перекрестка мы разошлись. Думаю об этом человеке, и мне почему-то кажется, что это был старый акробат-циркач. Каждый вечер на манеже он прикладывает к лысой голове специальную подушечку, чтобы другой акробат мог сделать стойку на голове.

1969

Человек

Сидел человек, согнувшись калачиком, такой волосатый, заросший, что нельзя понять, где у него голова, где ноги, где что.

А мне интересно, что это за человек.

– Который час? – спрашиваю, чтоб завязать разговор, не отвечает. А мне еще больше интересно.

Беру палку и как трахну его по голове. Палка запуталась в волосах, а человек как сидел, так и сидит. Ну, думаю, пойду я отсюда, пока чего не вышло. Странный какой-то человек.

Отошел и снова думаю: как же это так. Скажешь потом кому-нибудь – не поверит, да я и сказать ничего не смогу. Вернулся. Каждый человек – уникал. Нельзя проходить мимо хотя бы одного человека.

– Какой денек сегодня, а? – говорю, чтоб начать разговор. Молчит. Беру тогда спичку и подношу к его волосам. Раз чиркнул, два чиркнул, не горят. Наверное, парик и волосы искусственные. Что делать – не знаю. Бензином бы облить или гранатой подорвать? Я что-нибудь и придумал бы, но на ходу ведь не сообразишь. Так и ушел.

Потом, правда, еще раз вернулся, а когда вернулся, человека уже не было. У кого ни спрошу: не видели ли, тут человек сидел, волосатый такой – никто не видел.

1969

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Герман-печатник | 4 |
| Лестница | 44 |
| Соседки | 45 |
| Из дневника | 46 |
| Выбранные места из жизни А.М. Абрамовича | 46 |
| Визит | 47 |
| Ссора | 50 |
| Увы | 51 |
| Разговор в предбаннике | 52 |
| Пункт | 53 |
| Туда и обратно | 55 |
| Черт побери | 56 |
| Юркина жена | 57 |
| Злоключение | 58 |
| Яблоко | 61 |
| Комендант | 62 |
| Свалка | 63 |
| Приказ | 64 |
| Нос | 65 |
| Рамы | 67 |
| Пожар | 68 |
| Ай донт | 69 |
| Монолог | 69 |
| Выходя из пирожковой | 70 |
| Кошка и бабка | 70 |
| Ситуация | 71 |
| Здрасьте | 71 |
| Полдень | 72 |
| Как это было | 72 |
| Портреты | 73 |
| Ректификат | 73 |
| Дед | 74 |
| Музыка | 75 |

| | |
|---|----|
| Монолог в очереди | 76 |
| Вариант | 77 |
| По дороге | 77 |
| Обходя Инженерный замок | 80 |
| Новоселье | 82 |
| Просто Ложкин | 83 |
| И ты? | 84 |
| Ченьч | 85 |
| Книга | 88 |
| Фьрин | 88 |
| Что-то | 89 |
| Камень | 89 |
| Турнир | 90 |
| Рассказ с лирическими отступлениями | 91 |
| Диалоги | 92 |
| Утро и вечер | 92 |
| Полет шмеля | 93 |
| Кошки | 94 |
| Портрет | 95 |
| От двенадцати до часу | 96 |
| Прототип | 96 |
| Правописание | 97 |
| Попутчик | 97 |
| Плешь | 98 |
| Человек | 99 |

Мишин Валерий Андреевич

ГЕРМАН-ПЕЧАТНИК

Издательство “Формика”
Лицензия ИД № 04778 от 18 мая 2001 г.
Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 6,5.

Подписано к печати 24.07.2001 г. Тираж 300 экз. Заказ № 1929.

Отдел оперативной типографии НИИХ СПбГУ.
198504, Санкт-Петербург,
Петровворец, Университетский пр., 2